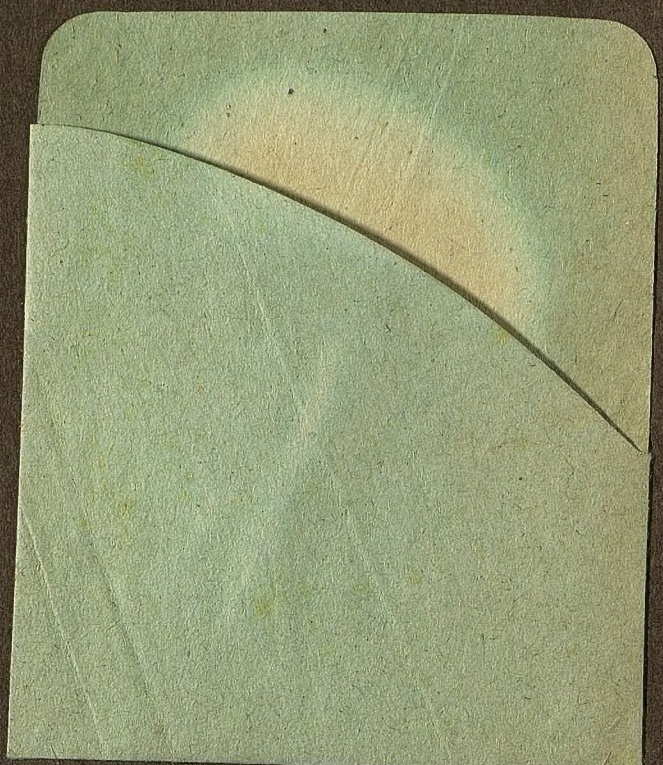
М. ГОРЬКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

«КНИГА» О-ВО С ОГР. ОТВ.
БЕРЛИН
1923



2504

У
333

1994 г.

№ 80

РЭ
Г-710

М. ГОРЬКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. Е. КАРОНИН-ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ / А. П. ЧЕХОВ / ЛЕВ ТОЛСТОЙ / М. М. КОЦЮБИНЬСКИЙ / ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Ц428

VERLAG «KNIGA» G. m. b. H.
BERLIN
1923

Инв. № 242-Т
Nc80

Н. Е. Каронин-Петропавловский.

Осенью 89 г. я пришел из Царицына в Нижний, с письмом к Николаю Ельпидифоровичу Петропавловскому-Каронину от известного в то время провинциального журналиста В. Я. Старостина-Маненкова. Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве; род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен, я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклиная все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего путешествия, мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней, несколько поблекла.

До этого времени я не встречал писателей — кроме Маненкова и Е. Н. Чирикова, которого видел однажды мельком; также, мельком, видел я в Казани и Каронина. Маненков был человек — в трезвом виде — чудаковатый, а выпивши шумно из'яснялся в любви к русскому народу, плакал и заставлял меня тоже любить русский народ. Но однажды, осенним вечером, мы с ним шли по краю площади города Борисоглебска, а посредине ее, в глубокой, черной борисоглебской грязи барахтался пьяный мещанин и орал, утопая.

— Вот, видите? — поучительно сказал Василий Яковлевич. — Мы читаем книги, спорим, наслаждаемся и идем равнодушно мимо таких явлений, как это, а подумайте-ка, разве мы не виноваты в том, что этот человек не знает иных наслаждений, кроме водки?

Я предложил пойти и вытащить человека, а Маненков сказал:
— Если я пойду, то потеряю калоши.

Пошел я и потерял интерес к народолюбцу.

Но я много читал, и мое представление о русском писателе сложилось в красивый сказочный образ: это суровый глашатай

правды, он одинок среди людей, никем не любим, обладает несокрушимою силою сопротивления врагам справедливости и, хотя враги усердно вымораживают его душу, она неистощимо пламенна и — «дондеже есмь» возжигает свет во тьме.

Н. Е. Каронин был в ладу с этим представлением — я читал почти все, написанное им, и только-что познакомился с рассказом «Мой мир», где есть слова, ударившие меня в сердце:

«На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от нее? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила. Если мир окутывает еще тьма, то потому только, что мысль не осветила ее; если среди людей большая часть подлых, то только потому, что мысль не освободила еще их от безумия»[1]).

И вот я, с трепетом в душе, — как верующий пред исповедью, — тихонько стучу в дверь писателя: он жил во втором этаже маленького флигеля. Высокая, черная женщина в красной кофте, с засученными по локоть рукавами, открыла дверь, подробно и не очень ласково расспросила, кто пришел, откуда, зачем и ушла, крикнув через плечо свое:

— Николай, выдь сюда . . .

Предо мною высокий человек, в туфлях на босую ногу, в стареньком, рыжем пиджаке, надетом на рубаху, не лучше моей, — на вороте рубахи одна пуговица оторвана. Брюки его измяты, вытянуты на коленях, и тоже не лучше моих, длинные волосы растрепаны также, вероятно, как и у меня. Он смотрит в лицо мне светло-серыми глазами; взгляд ласковый, усталый, а глаза немного выпуклые и мне кажется, что они видят все, что я думаю, знают все, что скажу. Это смущает меня. В ответ на его вопросы, я молча киваю головой, говорю да, нет, но мне все приятнее смотреть на него.

У него небольшой рот и яркие губы; красивые брови вздрагивают, и тонкие пальцы — тоже, он перебирает ими редкую, но длинную бороду, дергая ее книзу, — точно она все время растет; красивый, высокий лоб его усиливает это впечатление непрерывного роста — а торопливые движения руки как будто пытаются задержать рост. Он — тонкий, худой, несколько

[1]) Из рассказа «Мой мир», соч. Каронина, т. 2-й, стр. 364.

сутулый, грудь вогнута, руки длинные, в нем есть что-то детское, приятно неуклюжее, я чувствую, что мое смущение замечено им и, в свою очередь, смущает его.

— Ну, идите сюда, шагайте, — приглашает он глуховатым голосом.

Говорит он немного заикаясь, точно отсекает апострофом первый звук слова; это тоже очень хорошо, чудесно сливается с его большим, замученным лицом и рассеянным взглядом светлых глаз.

Мы в узкой, тесной комнате, и первое, что бросается мне в глаза, — в ней нет стола, нет книг. У стены — койка, один ее конец выдвинут немного на середину комнаты, на подушках лежит пирожная доска, на доске — недописанный лист бумаги, несколько таких же листов — на стуле, по примятой постели видно, что человек писал, сидя верхом на койке, а столом служила ему пирожная доска.

Сбросив со стула бумаги, он подвинул его мне, а сам сел на постель, крепко потирая руки и говоря:

— В'от — пишу тут, надо — скоро, а там жена и С'аша — собираются уезжать и с'уматоха, знаете . . .

Потом стал читать письмо Маненкова, высоко подняв брови, улыбаясь мягкой, женскою улыбкой и покашливая тихонько.

Дверь в соседнюю комнату была не прикрыта, там черноволосая женщина, с лицом цыганки, гладила накрахмаленную юбку; один конец гладильной доски лежал на столе и груде толстых книг, а другой на спинке стула.

— Скоро? — строго и певуче спросил кто-то.

На пороге встала высокая барышня с огромными глазами.

— Ах, ты не один! — сказала она.

— Падчерица моя, Саша, знакомьтесь, — предложил Каронин, не отводя глаз от письма, обширного, написанного мелким почерком, лиловыми строчками.

Барышня протянула мне руку и ушла, напевая что-то.

— Хотите, значит, сесть н'а землю? — с усилием спросил Каронин, отделяя каждое слово секундой паузы. — Сколько же вас?

— Двое телеграфистов, я и девушка, дочь начальника станции.

— Н-ну, и влюбитесь вы в нее все трое, а п'отом начнете драться, и выйдет скандал, а не к-колония.

Он наклонился ко мне, размахивая листом письма, и усмехаясь заглянул в глаза мне.

— Давайте говорить на чистоту. Знаете, что пишет Василий Яковлевич? Он пишет, чтоб я отговорил вас от этой затеи.

Я удивился.

— Он одобрял меня и обещал помочь.

— Да? Ну, а пишет, чтоб я отговорил . . . А я не знаю, как отговаривать, у вас вон такое упрямое лицо. И вы — не интеллигент. Интеллигенту я сказал бы: брось это, друг мой; это нехорошо — итти отдыхать туда, где люди устают больше, чем ты . . . И это искажает хорошую идею единения с народом. Несомненно — искажает. К народу надобно итти с чем-то твердо, на всю жизнь решенным, а так, налегке, потому что тебе плохо, — не ходите. Около него вам будет еще хуже.

Он выполнял данное ему поручение с видимой неохотой, я чувствовал это, мне было неловко, и я спросил — не лучше ли мне зайти в другой раз?

— Почему? — встрепенулся Каронин. — Нет, подождите!

Он осмотрел пустые стены комнаты и продолжал оживленнее:

— Я как раз вот описываю историю одной колонии — историю о том, как пустяки одолели людей и разрешились в драму . . .

Повернулся к доске и сказал, поглядывая на исписанный лист:

— Общество имеет свои отрицательные стороны — да, люди пусты, раздвоены, без нужды толкаются, мозолят друг другу глаза и — когда все это надоест — ищут одиночества. А в одиночестве человек преувеличивает всякое свое чувство, всякую мысль в сотни раз и в сотни раз тяжелее страдает от этих преувеличений — это говорит один барин в моей повести.

Отбросив листок в сторону, он усмехнулся, провел рукою по лицу сверху вниз, смешно придавив себе нос, и встал, говоря:

— Знаете — зачем вам колония? Не нужно это вам. Ведь вы ищете идеального, смотрите — придется вам спросить себя, как уже теперь спрашивают многие и — в том числе мой герой — я его не выдумал, это живой, современный преувеличенный человек — зрелище очень печальное — он сам каялся мне. Вот, — и снова порывшись в своих листках, он прочитал с одного из них: — «Что идеального в том, если человек душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? Человек должен бороться против пустяков, уничтожать их, а не воз-

водить в подвиг и заслугу». Вот, о чем вам придется думать, это — наверняка!

Провел в воздухе рукою длинную линию и разрубил ее посредине убедительным жестом, а потом сморщил лицо, вздохнув:

— К'колония — эх! Р'азве это нужно?

Более тысячи верст нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими. А тихий, мягкий человек взмахнул рукой и как бы отсек голову моей мечте. Это явилось неожиданностью для меня, я полагал, что мое решение устойчивее, крепче. И особенно странно — даже обидно — было то, что не слова его, а этот жест и гримаса опрокинули меня.

— Маненков с'ообщает, что вы пишете стихи, покажите — можно? — спросил он спустя некоторое время, в течение которого дал еще несколько легких ударов полуживой уже моей мечте. Мне и жалко было ее, и весело, что она оказалась такой слабой.

Стихи я потерял в дороге между Москвой и Нижним; история этой потери казалась мне очень смешной, я рассказал ее Н. Е., желая еще раз посмеяться над моими злоключениями и ожидая, что он тоже посмеется.

Но он выслушал меня, опустив голову, и хоть я и не видел его лица, но чувствовал, что он даже не улыбнулся. И снова это смутило меня.

Посмотрев на меня исподлобья особенно пристальным взглядом, он тихонько сказал:

— А ведь могли быть изувечены. Стихов не жалко — на память знаете? Ну, скажите что-нибудь.

Я сказал, что вспомнил: речь шла о зарницах, и была такая строка:

«Грозно реют огненные крылья» . . .

— Тютчева читали? — спросил он.

— Нет.

— Прочитайте, у него лучше . . .

И почти шепотом, строго нахмурясь, он проговорил знаменитое стихотворение; потом предложил читать еще, а после двух-трех стихотворений, сказал просто и ласково:

— В общем — стихи плохие. Вы как думаете?

— Плохие.

Он посмотрел в глаза, спросив:

— Вы это — искренно?

Странный вопрос: разве с ним можно было говорить неискренно?

Глядя в лицо мне славными своими глазами, он продолжал, уже не заикаясь:

— Вот, недавно я прочитал очень хорошие строки:

— Кто по земле ползет, шипя на все змеею,
Тот видит сор один. И только для орла,
Парящего легко и вольно над землею,
Вся даль безбрежная светла.

— Это Апухтин написал Толстому — красиво? И — верно!

С этой минуты мне стало казаться, что он обо всем говорит стихами и говорил он так, словно сообщал тайны, только ему известные и дорогие ему.

И уговаривал:

— Вы читайте, читайте русскую литературу, как можно больше, все читайте! Найдите себе работу и — читайте! Это лучшая литература в мире.

Помню его поднятую руку, тонкий вытянутый палец, болезненно покрасневшее, взволнованное лицо и внушающий, ласковый взгляд.

Потом он встал, вытянулся так, что хрустнули кости, и глаза его устало прикрылись. Я ушел, позабыв о колонии.

В следующий раз я встретил его на Откосе, около Георгиевской башни; он стоял, прислонясь к фонарному столбу, и смотрел вниз, под гору. Одетый в длинное широкое пальто и черную шляпу, он напоминал расстриженного священника.

Было раннее утро, только-что взошло солнце; в кустах под горою шевелились, просыпаясь, жители Миллионной улицы, нижегородские босяки. Я узнал его издали, всходя на гору, к башне, а он, когда я подошел и поздоровался, несколько неприятно долгих секунд присматривался ко мне, молча приподняв шляпу, и, наконец, приветливо воскликнул:

— Это вы, колонист!

Через минуту мы сидели на скамье, и он говорил оживленно,

помахивая шляпою в свое лицо, с красными пятнами на щеках.

— Я тут часто бываю по утрам — изумительно красивое. место, а? Вот — не умею описывать природу, — это несчастие! А странно: из молодых писателей ведь почти никто не пишет природу, да если и пишут, то — сухо, не искусно.

Заглянул вниз и продолжал:

— Наблюдаю этих людей, тоже колонисты, а? Очень хочется сойти туда, к ним, познакомиться, но — боюсь: высмеют ведь? И стащат пальто, да еще побьют. Ведь в бескорыстный интерес к ним они не поверят, конечно? Вон — смотрите, молится один. Странная фигура. Он должно быть, или так был пьян, что еще не выспался, или убежденный западник — видите: молится на Балахну, на запад?

— Он сам балахнинский, — сказал я.

— Вы его знаете? — живо спросил Каронин, придвигаясь ко мне. — Расскажите — кто это?

Я уже был знаком с некоторыми из людей, ночевавших в кустах, и стал рассказывать о них. Каронин слушал внимательно, часто перебивая вопросами и все время обмахивался шляпой, хотя майское утро было достаточно свежо. Он показался мне иным, чем в первый раз, возбужденный чем-то, улыбался немножко иронически, недоверчиво, и раза два сказал мне, весело поталкивая меня в бок:

— Ну, это уж романтизм!

— Однако, вы, барин, романтик!

Меня его веселые попреки не задевали, хотя я и знал уже, что быть романтиком — весьма непохвально.

— Я рассказываю вам так, как они рассказывают о себе, — заметил я.

Он задумчиво сказал:

— Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать, и поэтому незаметно для себя врет, путая действительность с игрою своего ума. Один мужичек долго и убедительно приглашал меня к себе на пчельник, пришел я, а пчельника-то у него не только нет, а и не было. Я спрашиваю: как же это, Федор Васильич, а? А он: «да, видишь ты Федипорыч, больно у пчеляков у этих жизнь хороша. Думал я про них, думал, да на себя и выдумал». Вот и они, эти, тоже выдумывают на себя. Романтики, вроде вас, барин. А то еще знал я бузулукского

мещанина, который выдавал себя за фальшивомонетчика и, показывая людям настоящие казенные деньги, хвастался чистотою своей работы. Добился худой славы и даже обыска, а потом оказалось, что он и не пробовал никогда сам сделать хоть бы один двугривенный. Спрашивают его: зачем же ты, брат, оболгал сам себя? «Кому, говорит, от этого вред и худо? А мне, чай, приятно думать, что вот захочу и — готово, богат».

Перестал улыбаться, задумался, глядя далеко за реку, почти синюю, в шелковые, на солнце, луга.

— Это, знаете, у нас черта серьезная, глубокая черта — под нею, может быть, скрыто бьется жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмется за дело — возьмется, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия. Вот мне тут рассказывали об этих волжанах судоходцах — какие фигуры, какое сказочное упорство в достижении целей! Нет, русский народ — хороший народ, чудеснейший народ, я вам скажу.

Все это говорилось торопливо, горячо и настойчиво, как бы в споре с кем-то. Потом он встал, прошелся по дорожке, оглядываясь вокруг, и снова сел.

— Вот — сзади нас семинария, немного далее — гимназия, против нее — дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий — почти доисторическая жизнь в ямах, под открытым небом, и дикие люди. Над этим стоит подумать юноша! Надобно подумать. Ужасно плохо мы знаем жизнь и — что еще того хуже — не хотим знать ее, как бы нарочно стараемся видеть меньше, чем можем, бежим в колонии, прячемся в хаты с краю . . .

И с великой печалью, он заговорил о сложной болезни того времени — я не помню точно его слов, но, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».

«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему еще недавно верили, холод и душевная пустота».

Говорил он тихонько, как бы стыдясь, что приходится говорить о таких печальных вещах, и все оглядывался, словно не желая, чтобы кроме меня его слова слышал еще кто-нибудь.

Сидел согнувшись, крепко стиснув колени пальцами худых рук, на лицо ему падала тень от шляпы, и глаза казались синими.

— Вот, вы рассказывали об этих людях под горою. Но — почему, подумайте, почему у нас люди так легко погибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и — ничего, а вдруг — «сбился с пути». Смотрите: это невольно сказалось: жил и — ничего! — Все ходят как будто по скользкому месту; идут — пошатнулся — упал и не за что придержаться — ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно — до неизлечимых увечий, хотя падают не Бог весть с какой высоты.

Это мне плотно легло в память — я тогда сам был в позиции человека, готового упасть.

Он вдруг вскочил на ноги, потрогал карман жилета, взглянул в небо.

— Часов шесть уже, да? Мне — пора. Заходите!

И крупными шагами, низко нахлобучив шляпу, пошел по бульвару, но вдруг остановился, повернул назад и строго — до смешного строго — спросил:

— Вы чем, собственно, занимаетесь?

— Развожу баварский квас.

— То-есть, как это, куда развозите?

— По лавкам, по домам . . .

Он подумал и сказал, усмехаясь:

— Это, должно быть, очень скучно и глупо, а? Ну — до свиданья, купец, заходите же!

Он любил гулять в поле, за городом, один; я встречал его раза два во время этих прогулок, он спрашивал меня, что я читаю, и с великим волнением рассказывал мне о писателях. Помню, говоря о Гаршине, он сказал, по поводу «Красного цветка»:

— Русский писатель всегда хочет написать что-то вроде Евангелия, книгу по всему миру; у нас этого все хотят, это общее стремление и больших, и маленьких писателей и, знаете, часто маленькие-то вечную правду чувствуют вернее, глубже гениев — вот, что не забудьте, это очень важно! Русская литература — особенная, это, так сказать, священное писание и читать ее надо очень внимательно, очень!

Долго молчал и потом сказал:

— Гаршина называют святым человеком — больше этого — он был святое дитя!

Однажды я пришел к нему на квартиру и застал его в той же узенькой, пустой и скучной комнате; полуодетый, растрепанный, он лежал на постели с книжкой в руках.

— Температура скачет в гору, — об'яснил он, — утром взбежала до сорока почти, вот и валяюсь! А мои уехали в Саратов. Скажите-ка волшебнице, которая отворила вам дверь, чтобы она чаю нам дала.

— Вы читали Кущевского? — спрашивал он. — Нет? Непременно прочитайте «Николая Негорева» — хорошая вещь! Вы о нем слышали, о Кущевском?

Сжато, памятными, вескими словами, он начал рассказывать о том, как автор «Негорева», работая осенью на Неве грузчиком-каталем, упал с тачкой в воду, простудился и, лежа в больнице, писал по ночам свой роман.

— Я не знал его, не встречал, мне рассказывал о нем пьяненький фельдшер той больницы. «Лекарства мне не нужны, — говорил он фельдшеру, — вы лучше дайте мне водки, свечу и бумаги. Жить я не буду, все равно, но — мне необходимо написать роман, вот вы и помогите в этом — дайте мне свечку. Днем писать запрещено и мешают, значит — надо писать ночью, а без свечки — темно, понимаете?» Он у всех просил свечек, но думали, что это бред, и не давали ему огня, он выменивал огарки на свои порции, голодал и писал, а однажды взял казенную свечу из ванной комнаты, это заметили и отняли свечку у него, а он — плакал! И, все-таки — написал роман. Там есть удивительное лицо, может быть, одна из самых фантастических фигур в русской литературе — Оверин, которому земля, вся земля — кажется живым, чувствующим и думающим существом, и оно ничего не знает о нас, или столько, сколько мы знаем о микробах. Оно сгибает палец, а мы переживаем землетрясения, и, в то же время, может быть, оно учится в какой-то гимназии, читает книги и, когда перевертывает страницы, наш мир качается. Когда я читал об этом великане-земле, не чувствующем на себе людей, — мне было страшно. Это только русский писатель может чувствовать всю землю, как живое и враждебное ему существо, я уверен, что только русский. Эх, знаете, сколько

в России талантливых людей, и как они страшно живут! Вот — посмотрите!

Он сел на койке, прислонясь спиною к стене, и стал читать рассказ Кущевского «Самоубийца». До этой поры, а, пожалуй, и — с той поры до сего дня — я не слышал такого чтения: легкий недостаток речи Каронина удивительно помогал ему оттенять и подчеркивать наиболее волнующие места просто написанного рассказа, тихий голос насыщал слова жуткой и победительной нервной силой.

Нестерпимо стыдно и страшно было слушать историю крестьянского сына, литератора Агафонова: отец обложил его оброком в десять рублей за каждый месяц, под угрозою не давать паспорта и — сечь. Однажды этот Агафонов, «маленький, русоволосый человек», писавший свои рассказы, волнуясь до рыданий, заболел, а из больницы попал в пересыльную тюрьму.

«Пропутешествовав несколько сот верст в ручных кандалах, он очутился перед грозными очами отца, который не принял во внимание никаких извинений в неаккуратном взносе оброка . . .

— На коленях просил я его, — рассказывал Агафонов, — не сечь меня; потом просил высечь, да опять в город отпустить. Нет. А гляжу в окошко, батрак Осип на березу залез и розги режет. Отец говорит: «Покажу тебе пьянствовать». — А у меня сердце так и бьется; гляжу в окно — розги режут . . . Пришли. Я долго боролся, растянули в риге, на соломе, и . . . Я хотел тогда удавиться после этого, да отец согласился взять с меня пятнадцать рублей в месяц и опять отпустить в Петербург. — А что если он меня потребует, и опять поведут меня в кандалах? Ах, сколько клопов на этих этапах, если бы вы знали . . . И опять сечь . . . я этого не снесу . . . Вы — дворянин . . . как хорошо быть дворянином! Но вы — голытьба, вы наш . . . да»[1]).

И вот снова отец требует, чтобы сын прислал шестьдесят рублей оброка или возвращался в деревню. Агафонов мечется в ужасе, никто не может помочь ему. Наконец, ему прислали «паспорт» — мужичек из родной деревни принес длинный сверток, а в нем пучек березовых розог и при этом письмо отца

«Вот тебе паспорт». И угроза — если податею не будет вручено немедленно шестидесяти пяти рублей, то отец вытре-

[1]) Кущевский, «Неизданные рассказы», стр. 179—185.

бует сына к себе прежним законным порядком, и паспорт этот будет прописан на его спине.

Агафонов повесился.

Кончив читать, Н. Е. отбросил книгу, крепко вытер пальцами усталые глаза и молча лег.

Я спросил — правда это, или выдумано?

— Правда, — сухо сказал он. — Мне рассказывал эту историю стихотворец Кроль, участник ее, один из тех, кто не мог помочь Агафонову. Все они были приблизительно в одинаковых условиях с Агафоновым; настоящая фамилия этого несчастного — не Агафонов, а не помню как. В Петербурге я читал его рассказы — это вроде Николая Успенского, но — лучше, вдумчивее и мягче. Его фамилию я помнил еще вчера, да вот эта головная боль — от нее и свою фамилию забудешь . . .

— Не уйти ли мне? — предложил я.

— Ну, вот еще! — воскликнул он, вставая на ноги. — Помилосердствуйте, я уже четвертый день, кроме мух, ничего живого не вижу . . .

— Все они — Кущевский, Воронов, Левитов, и — множество других — были горчайшими пьяницами, об этом вспоминают часто, а причина — почему они пили, так — на смерть, причина этой драмы никого не занимает. Ведь не все же они родились алкоголиками, многие, вероятно, пили потому, что лучше этого занятия — не было у них. Может быть, современный уход в колонии и в другие хаты с краю, по существу-то немного лучше ихнего пьянства; может, даже — если взять самую глубину явления — кабак-то ближе колонии к людям? Я не утверждаю, а — догадываюсь. Надо помнить, что один из честнейших писателей наших однажды громко заявил: «я умираю оттого, что был я честен». Это — чугунные слова! И нигде, кроме России, эдак не сказано. В этом — всей нации, всему обществу упрек брошен, упрек заслуженный. Но, если умирали от того, что были честны, ведь и пить могли от того же? Имею ли я право отдохнуть от безобразия в кабаке, так как другого места для меня, для истерзанной души моей — не уготовано? Общество категорически отвечает: «не имеешь ты этого права!» Само оно, однако, всегда напоминает поведением своим псалом «вскую шаташася языцы» и — глухо к таким признаниям, как вот: «умираю, потому что был я честен». Это до него не доходит!

Рассказывал анекдоты о глупостях цензуры, смеялся беззлобно, потом долго молчал, усталый, и вздохнув, сказал:

— Вообще говоря, юноша, быть писателем на святой Руси — должность трудненькая. Вот, когда-нибудь родится умный человек, посмотрит, подумает и, может быть, напишет историю русского писателя — разночинца. Это очень поучительная история будет и весьма полезная для общества. Надо же понять, наконец, до какой степени у нас невозможно — возможное. Каламбур — по русски: возможное — невозможно.

Он едва сидел на стуле, глаза его были мутны, и голова тяжко опускалась на грудь. И когда я сказал ему, что напрасно он перемогается, лучше бы лег, он, видимо, сильно болен, Н. Е. усмехнувшись, ответил:

— Я лет десять болен.

Однажды я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстовец, собралась публика послушать его, пришел и Каронин с женою.

Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжелых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате в развалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей, как человек, обладающий универсальной истиной — снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:

— Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!

Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но, однако, в нужных случаях употреблял носовой платок. Говорил «по нашему, по-просту, по-деревенски», смачно подчеркивая настоящие слова — «брюхо», «негоже», «стал-быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужичка с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастиях жизни они сами виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истины, суровый нагоняй пророка ее был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастию оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии, —

4428

человек рябой, лохматый и ненавидевший рационализм, что не мешало ему третий год учиться на медицинском факультете Казанского университета. Он стал возражать толстовцу, и через полчаса оба они начали яростно швырять друг в друга цитатами из Евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л. Н. Толстого; студент читал их и доказывал толстовцу, что он не понял своего учителя, а опростившийся человек сердился, уже употребляя не всем понятные слова, вроде «предиката», «антимонии»; студент уличал его в неправильном толковании философских терминов — вихрем взвеялась крикливая скука, и все слушатели поблекли.

Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему, и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетенно покорных людей, в кругу которых неутомимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я все ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-чуть, выступит вперед и убеждающим голосом скажет:

— Довольно!

— Это квиетизм! — кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма». Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомленных спором; кто-то их них спросил:

— Что — все еще скучно?

— Как в семинарии на уроке гомилетики, — ответил Каронин.

Его спросили, как ему нравится проповедник?

Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и не охотно:

— Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По моему это значит, что у него — одновременно — и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа.

Минут через пять он ушел, не простясь с хозяином квартиры, а я и еще кто-то пошли провожать его.

Он шагал медленно, спрятав руку под бороду и тихонько говорил:

— У Слепцова, умный его Рязанов говорит — «есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть» — вот и этот франт всю жизнь так осветил, что мне на нее стало скучно смотреть. Рязанов потом сознался, все-таки, что «это и не жизнь, а так, чорт знает, что, дребедень какая-то» — пройдет года два — три, и франт тоже увидит, что он выдумал дребедень и чорт знает что. А, может, и не скажет, он — самолюбив; не скажет, а просто пулю в лоб себе. Зато, если скажет, то непременно крикливо и всему миру на показ, уж это наверняка[1]).

— Положительно, в нем есть что-то общее со скептиком Рязановым, хотя он и щеголяет в ризе вероучителя, — говорил Каронин медленно и как бы думая о чем-то другом. — Жена моя слушает его и все толкает меня в бок, шепчет: вот, напиши о нем рассказ. Написать — можно и даже следует. Нет ничего легче, как снять с человека чужое и показать, что под чужой одеждой скрывается беглый арестант из собственной своей тюрьмы. Вы слышали, как он сказал: «вера, это любовь, распространенная на весь мир?» Слова не продуманные: они предполагают возможность какого-то безгневного, созерцательного существования. Это для русского жителя — созерцание рекомендовать?

Придержал меня за плечо и спросил:

— А на вас, колонист, эта проповедь, кажется, подействовала?

Да, я был угнетен всем, что видел, а особенно моим полным непониманием философских слов. Я попросил у него разрешения зайти к нему.

— Милости прошу! — сказал он.

Я видел у него книги Спенсера, Вундта, Гартмана в изложении Козлова и «О свободе воли» Шопенгауэра; придя к нему на другой день, я и начал с того, что попросил дать мне одну из этих книг, которая «попроще».

В ответ мне, он сделал комически дикое лицо, растрепал себе бороду и сказал:

[1]) Пророчество Каронина в скорости и удивительно точно оправдалось: в год его смерти, ярый толстовец Н. Ильин напечатал свой, до неприличия крикливый, «Дневник», некоторое время спустя один из главных проповедников «толстовства» М. Новоселов начал кричать на Льва Николаевича в «Православном Обозрении» и целый ряд бывших проповедников «неделания» и «непротивления злу» выступили со злейшей критикой «нового евангелия».

— Поехали Андроны на немазанных колесах!

А потом стал отечески убеждать:

— Ну, зачем вам? Это после, на досуге почитаете. А теперь, для знакомства с философией, достаточно будет, если вы прочтете Хемницерову басню «Метафизик» — в ней все ясно. Да и всем нам — рано философствовать, нет у нас материала для этого, ведь философия — сводка всех знаний о жизни, а — мы с вами что знаем? Одно только: вот, явится сейчас городовой и отведет в участок. Отведет и не скажет даже — за что? Кабы знать — за что, ну, тогда можно пофилософствовать на тему: правильно отвели в участок или нет? А если и этого не позволено знать — какая же тут философия возможна? Нет тут места для философии . . .

Он шагал по комнате длинными шагами, веселый, шутливый, точно поздоровевший за ночь, и в глазах его светилась мягкая радость.

— Россияне философствуют всегда весьма скверно, хотя некоторые из них и обучались в семинариях, но, видимо, способность философить — вне наших национальных предрасположений. Мечтать мы любим, как башкиры, а философим — по самоедски, хотя самоеды, вероятно, пустяками не занимаются, но — произведем самоеда от — сам себя ест. Это будет верно: наш девиз «не познай самого себя», а пожри самого себя. Жрем. Возьмите немца: у него философия — итог знаний и действий, а у нас она понимается, как план жизни, расписание на завтрашний день. Это — не годится, понимаете? Нет, вы лучше, займитесь-ка делом, вон — у вас впереди солдатчина — ведь осенью на призыв?

Я сказал, что солдатчина меня не пугает, напротив — я возлагаю на нее большие надежды: имею обещание, что меня возьмут в топографскую команду и отправят на Памир, а там я . . .

— Здравствуйте! — сказал он, остановясь против меня и поклонившись. — Экая сумятица у вас в голове: колония, Памиры, изучение философии — замечательно, право! Юноша, вам надобно лечиться от этих судорог. . . Или — ужь лучше идите в колонию, вот, например, в Симбирскую . . .

Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги, — Николай Ельпидифорович засиял, заметался и стал похож на ребенка, не знающего, что ему делать от

радости: вместо того, чтобы освободить один из стульев, заваленных книгами и газетами, он начал усердно снимать книги со стола.

Гость взял за спинку стул, сбросил с него газеты на пол и сел, молча и сердито поглядывая на меня, двигая большими челюстями.

Я простился с Карониным и больше не встречал его.

Знакомство с ним — одно из самых значительных впечатлений юности моей, и я рад, что мне было так легко вспомнить его слова, точно я слышал их всего год тому назад.

Удивительно светел был этот человек, один из творцов «священного писания» о русском мужике, искренно веровавший в безграничную силу народа, силу, способную творить чудеса.

Но у Н. Е. Каронина вера эта была не так фанатична и слепа, как у других писателей «народников» зараженных славянофильской мистикой и, казалось бы, чужим для них настроением «кающихся» дворян. Впрочем эта зараза естественна для людей, истерзанных своим одиночеством, людей, которым пришлось жить «между молотом и наковальней», — между полудиким правительством и чудовищно огромной, одичалой деревней.

Каронин веровал зряче:

— Надо все-таки помнить умный стишок Алексея Толстого, хотя Толстой и барин . . .

Поднял палец и, несколько смущенно, прочитал «стишок»:

— «Есть — мужик и — мужик.
Если он не пропьет урожаю
Я, тогда, мужика уважаю».

— Мужика надо еще сделать разумным человеком, который способен понять важность своего назначения в жизни, почувствовать свою связь со всей массой подобных ему, стиснутых ежовой рукавицей государства.

Он многое предвидел и некоторые мнения его оказались пророческими. После одной горячей беседы на обычную тему «что делать», он сказал угрюмо:

— Эх, замотаются люди на этих поисках места в жизни и нырнут в омут такого эгоизма, что всем чертям будет тошно!

Жил он только литературным заработком, нередко голодал,

ему часто приходилось бегать по городу, отыскивая у знакомых рубль в заем.

В один из таких дней я увидал его на «Балчуге», он продавал старьевщику кожаный пояс и жилет. Сгорбясь, кашляя, стоял пред каким-то жуликом в очках, сняв пиджак, в одной рубахе и убедительно говорил:

— Но, послушайте, почтенный, — что же я буду делать с семнадцатью копейками?

— А, уж этого я не знаю . . .

— На семнадцать копеек не проживешь день . . .

— Живут и дешевле, — равнодушно сказал жулик.

Каронин, подумав, согласился:

— Верно, — живут! Давайте деньги.

Когда я поздоровался с ним, он сказал, надевая пиджак:

— А я, вот, продал часть своей шкуры. Так-то, барин! Чтобы работать — надо есть . . .

Он часто говорил о людях, которым тяжело на земле, но я не слышал жалоб его на свою полуголодную жизнь да, казалось мне, что он и не замечает, как живет, весь поглощенный исканием «правды-справедливости». И, как все люди его линии мысли, верил, что эта правда существует там, в деревне, среди «простых» людей.

Мне кажется, он редко употреблял глагол жить, — чаще говорил работать. И редко звучало тогда слово человек, говорили — народ.

— «Мы должны целиком израсходовать себя в пользу народа, этим решаются все вопросы» — прочитал он мне слова из какого-то письма и, барабаня пальцами по листу бумаги, задумчиво добавил:

— Конечно. Ну, конечно! А иначе — куда? На что мы?

Встал со стула, оглянулся.

— Пишет это одна хорошая женщина. Из ссылки.

Полузакрыв глаза, глядя на голую стену комнаты, он тихонько рассказал мне историю девушки: она фиктивно вышла замуж за человека совершенно чужого ей, пьяницу, освободилась от семьи и попала в руки негодяя. Долго боролась с ним за свою свободу, измученная ушла в деревню «учить народ», а теперь зябнет в Сибири.

Рассказав это, он грустно добавил:

— Жертва. Тяжело ей. Я знаю, — тяжело! Но — другой дороги не было, барин!

В те дни, когда мне особенно плохо жилось, он посоветовал:

— Вы — странная натура. Все у вас угловато и, как-то отвлеченно. Пожалуй, вам и полезно будет пожить в колонии, с толстовцами, они вас несколько обломают . . .

Его интерес к «босякам» возрастал, раза три я видел Каронина в трущобах «Миллионной» улицы и мне казалось, что его несколько смущает увлечение, чуждое вере в деревню.

— Резкий народ, — говорил он. — Очень интересные типы есть. Конечно — отработанный пар, но, все-таки, некоторые — думают . . . А это уже — кое-что . . .

Жил он в постоянной тревоге о судьбе народа, в непрерывных заботах о хлебе и эта напряженная, нервная жизнь очень помогала болезни разрушать тело, измученное тюрьмой, этапами, ссылкой. Все лихорадочнее горели его глаза, суше звучал кашель.

Он уехал из Нижнего и вскоре умер.

Кто-то рассказал мне, что в день смерти Каронин грустно сознался:

— Оказывается, умирать гораздо проще, чем жить.

А. П. Чехов.

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочек земли и белый двух-этажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы

никто не смел орать на него . . . унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина, и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез . . . ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадежности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков! . . Отвратительно все это . . . какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват . . . серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой.

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте, — чаю дам, за то, что вы такой терпеливый . . .

Это часто бывало у него: — говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность . . .

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала, чем-то довольная, собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам . . .

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова . . . значит, — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал . . . больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил . . .

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот, учительницы просят прислать книг . . .

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее, и интереснее . . .

Помню, один учитель — высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность об'ективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть ничто иное, как только наше представление о нем . . .

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — не громко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьет, именно в вашем уезде . . .

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — не удивительно! Дико, но — об'яснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалованье — 20 р. . . . а школа — погреб и учителю — одна комната. При таких условиях — ангела Божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня . . .

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

— Шел я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит . . . а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело — все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас . . .

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — чорт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Не долго проучит . . .
— Почему?
— Затравят . . . прогонят . . .
Подумав, он добавил негромко и мягко:
— В России честный человек — что-то в роде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей . . .

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой; был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво-простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика и. — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром . . .

— Ну, да, конечно! — Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее . . .

— А кто, по вашему, сильнее? — на перебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованы . . .

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад . . . а вы — любите?

— Очень! — оживленно воскликнула дама.

— Он такой ароматный! — солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Ант. Павловичу:

— Мы пришлем вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком . . .

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему, как к суб'екту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую обществу, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

— Если б я был судьей, — серьезно сказал Антон Павлович — я бы оправдал Дениса . . .

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович, — вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, вот истина! —

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О, да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют ничего не чувствуя. И все у них каррикатурно выходит, мертво . . . А фотографиею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на . . . сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге, и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, еще бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки . . .

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благодарно, гуманно . . . лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. — Комната для прислуги у него сырая, и горничныя постоянно наживают ревматизм . . .

— Вам, Антон Павлович, нравится NN?

— Да . . . очень. Приятный человек — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Все знает. — Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками . . .

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статьей, — убежденно посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература . . . литература приятелей. Ее сочинют гг. Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний . . . душа в тоске. Точно какая-то болезнь . . .

— Это — болезнь! — убежденно сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По латыни она называется morbus pritvorialis. —

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по латыни, а может быть скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет, и жужжит. Нужно — встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же, казалось мне, — что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь, или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало,

как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками . . .

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет . . .

Или:

— Он же ведь еще молодой, это же по глупости . . .

И когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости . . .

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, из'еденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически-мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями — жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям:

— Да будьте же вы . . . порядочнее! — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно-человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка», — милая,

кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада», — эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали во время умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов краснѣ говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места . . .

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, чтѣ им нужно сделать и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На

форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском навождении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Манчжурии генерала Келлер и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен . . .

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой, белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину, Чехов сказал: «Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию.»

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но — плохо верит в нее. Писатель активного настроения — например Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они побуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень

русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь, только как скучное стремление людей к сытости, покою, великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда, как основания культуры, так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая совершенно исключая стремление накоплять их, не устает любоваться ими, как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники. В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша.

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

— Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко-бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил, да сады все садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы ее — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко Господу:
— Глянь-ко Ты, Господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты, вот, ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко Ты, Господи, порадуйся
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я Тебе ее в подарочек
Да — накладно будет — самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо . . . Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил:

— Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно и посоветовал:

— Две последние строчки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, не охотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь расскажет тему всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку», — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, — есть такая косточка . . . — О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно с его слов Савва Морозов упрямо доказывал:

— «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей — говорил он. — Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые 226 человек населения — один писатель, а у нас один на миллион . . .

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно — уж совсем глупо . . .

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — еще лучше и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем— жизнь с каждым днем становится все сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так не ровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький — злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб.

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и отирая слезы продолжал:

— Я говорю: Горький добрый. А он: нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить значит — все уметь . . .

Отдохнув, Чехов, повторил:

— Да, старик ревнует . . . Какой удивительный . . .

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим — убеждал он Сулержицкого — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребенок . . .

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах. А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенснэ. Долго молчал, наконец вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки . . .

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею! Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по русски, задумчиво-грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек — ось мира.

А— скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

———

Лев Толстой.

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала — тяжко больной, потом — одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бугами, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький.

Заметки.

I.

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, — мысль о Боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает — всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И — немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинять свою волю какому-то стрептококу. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II.

У него удивительные руки, — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговари-

вая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III.

К Сулержицкому он относился с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер — какая-то восхитительно-вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо, и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо ее они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер — ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, — склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Крапоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

— Ах, Левушка, перестань, надоел, — с досадой сказал Л. Н. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь, если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь — что будет? В философском смысле — бездонная пустота, а в жизни, в практике — станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоем-то смысле, свяжет с жизнью, с людями? Вот — птицы свободны, а все-

таки гнезда вьют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь — почувствуешь, — что в конечном смысле свобода — пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

— Христос был свободен, Будда — тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого — никто не ушел, никто. А ты, а мы — ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людями, и не будь этих чувствований — жили бы мы как звери . . .

Усмехнулся:

— А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого немного, но уже и не мало. Ты, вот, споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так укокошил бы меня — только и всего.

И снова помолчав, добавил:

— Свобода — это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV.

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли: — Какой-то маленький немецкий царек сказал: — «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это — верная мысль, верное наблюдение, — музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, — наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога, и мать у него еврейка; — это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V.

«Интеллигент — это галицкий князь Владимирко; он еще в 12 веке говорил «предерзко»: «В наше время чудес не бывает».

С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: «Нет чудес, нет чудес». А весь народ верит в чудеса так же, как верил в 12 веке».

VI.

«Меньшинство нуждается в Боге, потому что всё остальное у него есть, а большинство потому — что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в Бога по малодушию, и только немногие — от полноты души.

— Вы любите сказки Андерсена? — спросил он задумчиво. — Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, — он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII.

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо — ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя — иногда — любуется им, но — едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню, — Его девки засмеют.

VIII.

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, очень умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

— Карамзин писал для царя, Соловьев — длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь — будто хвалит, а вникнешь — обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

— Очень милый. Под'ячий такой. Старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но — очень, очень забавный.

IX.

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные и чужие всем и всему. Мир — не для них, Бог — тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: — зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди — пеньки, корни, камни по дороге, — о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X.

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: «Каждый должен спасаться à sa façon». Он же говорил: «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь». Но, умирая, сознался: «Я устал управлять рабами». Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие — не глупость: дурак — упрям, но противоречить не умеет. Да — Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил . . .»

XI.

«Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза», — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

— Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а ерундистика, как говорили в средине века, — бессмысленное плетение слов. Поэзия — безыскусственна; когда Фет писал:

— Не знаю сам, что буду
Петь, но только песня зреет, —

этим он выразил настоящее, народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет, — ох, да-ой, да-эй — а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикль де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки.

— А Беранже? — спросил Сулер.

— Беранже — это другое! Что же общего между нами и французами? Они — чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего — женщина. Они — изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные — чувственники.

Сулер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

— Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет . . .

XII.

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза — еще острей, взгляд — пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, — человеком решенных вопросов.

XIII.

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно в пресные воды земных рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чустся, что молчит

еще больше. Иного — никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV.

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, — читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже.

Потом он сказал:

— Вот как хорошо сочиняют мужики. Все просто, слов мало, а чувства — много. Настоящая мудрость немногословна, как — Господи помилуй.

А сказочка — свирепая.

XV.

Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и — только.

XVI.

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

— Но распоряжаетесь вы словами неумело, — все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, — не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, — под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас — все нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, — афоризм русскому языку не сроден.

— А пословицы, поговорки?

— Это — другое. Это не сегодня сделано.

— Однако вы сами часто говорите афоризмами.

— Никогда! Потом вы прикрашиваете всё: и людей, и природу, особенно — людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, — тогда будет хорошо . . .

XVII.

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

—Незаконченная мысль, — сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. — Должно быть, я хотел сказать: Бог есть мое желание познать его . . . Нет, не то . . . — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII.

О науке.

— «Наука — слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, — значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты — не поблагодарит он нас».

XIX.

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десяти-фунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

— Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими, вот, лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как

тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX.

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая раньше неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый . . .

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «26 и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI.

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по детски — трубой — сложив губы, насвистывал неумело.

— Как ярится пичужка! Наяривает. Это — какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

— На всю жизнь одна песня, а — ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность — справедливо ли это? — задумчиво и как бы сам себя спросил он. — Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал — и забыл, а она помнит. Может быть, ревность — от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за . . ., а которая — за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

— Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

— Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет — трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, — у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное, или которого давно грызла острая боль, и вдруг — нет ее. Каждая мысль впивается в душу его точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

— Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стежать нет . . .

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

— Они там говорят: стежаное одеяло!

И продолжал:

— А слащавый болтун Ренан . . .

Нередко он говорил мне:

— Вы хорошо рассказываете — своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

— Подобно, а рядом — абсолютно, когда можно сказать — совершенно!

Иногда же укорял:

— Хлипкий суб'ект — разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Не хорошо . . .

Его чуткость к формам речи казалась мне — порою — болезненно-острой: однажды он сказал:

— У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку — отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

— Подождем и под дождем — какая связь?

А однажды, придя из парка, сказал:

— Сейчас садовник говорит: насилу столковался. Не правдали — странно? Куются якорья, а не столы. Как же связаны эти глаголы — ковать и толковать? Не люблю филологов — они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

— Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, — я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглом приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел — добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин — эпилептик. Будь он здоров — его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен — весь мир болен . . .

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» — безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

— Ты что? Не нравится? — спросил Л. Н.

— Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и всё. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

— Это был бы грех без оправдания, а так — можно оправдаться жалостью к девице — кто ее захочет, такую?

— Не понимаю я этого . . .

— Ты много не понимаешь, Левушка, ты не хитрый . . .

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

— Леопольд — самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то — из жалости к кому-нибудь.

XXII.

Больше всего он говорит о Боге, о мужике и о женщине. О литературе — редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо-враждебно и любит наказывать ее, — если она не Китти и не Наташа Ростова, т. е. существо недостаточно ограниченное. Это вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против «унизительных порывов плоти?» Но это — вражда и — холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII.

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках.

За завтраком: «Пришли они, — оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой — «Бог даст — уйдем не драны». И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

— Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа: мы, вот, говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории»,

«эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что непонятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV.

— «Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее — лживые. Но когда она лжет — она не верит себе, а Руссо лгал — и верил».

XXV.

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, т. е. это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI.

— Некоторые церковные слова удивительно темны — какой, например, смысл в словах: «Господня земля и исполнения ее». Это — не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

— «У вас где-то истолкованы эти слова» — сказал Сулер.

— Мало что у меня истолковано . . . «Толк — от есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII.

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним — нельзя.

Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако, — не очень по душе мне. Он — чорт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII.

Может быть, мужик для него просто — дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько:

— Лопатой! По . . . Лопатой, а? По самой по . . . И — широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

— Вы еще великодушно ударили, другой бы — по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

— Не помню; не думаю, чтобы понимал . . .

— Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

— Не тем жил тогда . . .

— Чем ни живи — все равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

— Смешной вы. Не обижайтесь, — очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо . . .

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

— Ума вашего я не понимаю — очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное . . . да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках

девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

— Полин, давайте мне что-нибудь.

«Что-нибудь» — всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом . . .

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни княжны Д.-Г., их отец интендант — генерал куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ не взлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, — они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

— Я снай тибе! Ти — им лязит окно, когда ночь . . .

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

— Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

— О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, — взял под мышку узел иму-

щества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

— Я не звать полис — нитшего — слюший! Иди еще назади... Не надо боясь . . .

XXIX.

Я спросил его:

— Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

— А вам очень интересно знать это?

— Очень.

— Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, — в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова «гильчак», «почечуй», «спущать кровь» разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. д.»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX.

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI.

— Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак — гений, т. е. то самое, что нельзя назвать иначе — гений . . .

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», — Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

— Тут хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это — правильная мысль, но анархическое всевластие — описка, надо было сказать — монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать — он не споткнется. Ему — не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно . . .

XXXII.

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

— Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, Господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII.

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

— Зачем вы пишете это?

Я об'яснил, как умел.

— Везде у вас заметен петушиный наскок на всё. И еще — вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: — «Все минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом — язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто — бессвязно, а — хорошо. Мужик не спросит: «почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов — не надо.

Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

— Старик у вас — несимпатичный, в доброту его — не веришь. Актер, ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера. Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

— Видел.

— Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому — у вас нет характеров, и все люди — на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их . . .

Пришла жена, А. Л., и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV.

— Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила, не спеша, красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды — звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно — точно дымок —, оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом — всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевитая чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

— Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только, чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва наме-

ченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги — пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

— Это — страшно! Вы, в самом деле, видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

— Ведь, вы не пьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и все в этом роде, так он был пьяница, — «калаголик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут — это, вправду, страшно! Даже, если вы и придумали — очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

— А, ведь, представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий — с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, — это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

— Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним — глубокий черный овраг и — всасывает его. Он после этого седеть начал, руки стали трястись, и уехал заграницу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое — он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

— А вы не пьяница и не распутник — как же это у вас такие сны?

— Не знаю.

— Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

— Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

— Сапоги-то идут — жутко, а? Совсем пустые — тёп, тёп, — а снежок поскрипывает! Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV.

Иногда кажется: он только-что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже — не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо:

— Это еще не всё, нет, — не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

— Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

— Вы о чем говорите?

— О Плеве.

— О Плеве . . . Плеве . . . — задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь:

— У меня сегодня с утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись:

— «Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи все мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но Бог его прибрал для райской жизни в почь
С Пятницы на Субботу Страстной недели» —

и еще что-то такое же . . . Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил:

— В человеческой глупости, — когда она не злая — есть очень трогательное, даже милое . . . Всегда есть . . .

Позвали обедать.

XXXVI.

«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

— Какая величественная глупость! Совершенно животныя, которых дрессировали палкой . . .

Но, когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

— До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, — ах, Боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII.

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская, спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой, белой, войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у

стремени и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

— Он в Бога верует?

— Не знаю.

— Главного не знаете. Он — верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

— Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

— Андреев ваш — тоже атеистов стыдится, а тоже в Бога верит, и Бог ему — страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий, и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII.

«Берегите себя прежде всего — для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX.

«Что значит — знать? Вот, я знаю, что я — Толстой, писатель, у меня — жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, — все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к Богу. А что такое — Бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать, а жить в Боге можно только верой. Тертуллиан сказал: «Мысль есть зло».

XL.

Несмотря на однообразие проповеди своей, — безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и, как будто, нарочно еще более с'ежившийся, он рядом с крепким, солидным татарином, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и — боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно вцился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и Боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности — он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, — точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о Фете и назвал музыку «немой молитвой души».

— Как же — немая? — спросил Сулер.

— Потому что — без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренно чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребьячими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

— Все музыканты — глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI.

Чехову, по телефону.

— Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам! Вы очень хороший, очень!

XLII.

Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно ему. В сущности — он не спрашивает, а — допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII.

Разбирая почту.

— Шумят, пишут, а — умру и, — через год, — будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, — да этот?

XLIV.

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и — забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая: куда — же засунул я это, необходимое мне? И — боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и — сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг — вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

— Ничего вы со мною не сделаете.

Но о том — что нашел и где — молчит.

Удивляться ему — никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже — в одной комнате. Это — как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

Письмо.

Только-что отправил письмо Вам — пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, — еще не раз'единенный мысленно с Вами, — вновь пишу.

Вероятно, всё, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, —

уж вы извините меня, — я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, — мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеоб'емлюще и прежде всего человек, — человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете — он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, — но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и — повторю — деспотическим намерением усилить гнет своих религиозных идей, тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, освятить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете — заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы — со временем — прочитаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», — он всё знает! И все-таки говорит: — «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему — по эту. Писатель национальный в самом истинном и всеоб'емлющем значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки

нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма, это всё нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклонным, действенным сопротивлением злу жизни. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как Вы знаете и все знают. Знают — но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные, тараканьи путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто-механически, к удивлению большинства его честномыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы всё «разбредались», и только, когда дошли до мест, хуже которых — не найдешь, дальше итти — некуда, ну — остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учуявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает — сознательно и бессознательно — лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году, — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и

понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди жить хотят, а он убеждает их: это — пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он — лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем, он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухий и не Неклюдов, — все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей. Но — несомненно и неопровержимо, что в целом Русь — Тюлин внизу, а наверху — Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905 год, а что Обломов — смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов — оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален, — взгляните, как он пакостно-труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, — даже и в дневнике своем — молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений», — глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо — в глубине души своей — равнодушным к людям, он есть на-

столько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их — смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» — в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки — отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа — для всех и — навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, — почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны — он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешенно буйствует, со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню — в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Нитцше и графа Толстого», он сказал, в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

— А мне показалась забавной. Форсисто написано, а — ничего, интересно. Я, ведь, люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «истина — не нужна», и — верно: на что ему истина? Все равно — умрет.

И, видимо, заметив что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

— Если человек научился думать, — про что бы он ни думал, — он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех — любовь к Богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Нитцше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», — засмеялся и сказал:

— Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит — и других обманул. Ведь, это ясно выходит . . .

Сулер спросил:

— А почему — парикмахер?

— Так, — задумчиво ответил он, — пришло в голову, модный он, шикарный — и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, — он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерть буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

— Вот за Гете каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут.

Но далее, по поводу Шестова.

— Нельзя, — говорит, — жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, льзя или нельзя? Ведь, если бы он знал, видел бы призраки, — пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов — еврей.

— Ну, едва ли, — недоверчиво сказал Л. Н. — Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев — не бывает, назовите хоть одного . . . нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: — «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И — вслед за этим тотчас же: — «Пострадать бы». — Пострадать — это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку,

вообще — принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, — с внешней, с формальной стороны. Но — никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Адбурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И оттого всё, что никогда не жил — не умею жить — для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я — верю. Не был. Но — неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще — «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, — и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума, и, может быть, Тихона Задонского — люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей — милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

— Отстаньте! Любите Бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте Бога, любите дальнего и — отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот — обречен смерти!

Увы, это так, надолго — так! И не могло, и не может быть иначе, ибо — замаялись люди, измучены, раз'единены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью — это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди — одинаково ничтожны,

даже если они и епископы. Собственно — примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка; ее можно понять, как возмездие умного человека — глупцам.

Я все не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот — пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», — жили были лентяи да бездельники, а нажили — святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства — пусты, а души лучших — полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно — житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что — человек он, — безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но — это не важно. Он — человек, взыскующий Бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам Евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, — упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что Евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и Мир» и все прочее этой линии — не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «В. и М.» он сам говорил: «Без ложной скромности — это как Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, — один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, — так и говорят — «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной, — я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он — нет ничего величественнее и дороже нам . . .

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, — мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, — лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его — всем чужая — обманчивая улыбочка. И руки, наконец, спокойно сложены — отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, — они видели всё насквозь — и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под имением Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую, угловатую фигурку, в сером, помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — между пальцев веют серебряные волосы бороды — и смотрят вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни — огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями, — накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том — когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море — часть его души, и все вокруг — от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он — его сосредоточенная воля — призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что — возможно! — встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит

на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно, и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:

— Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая, мешать его думам. А вот теперь — чувствую себя сиротой, пишу и плачу, — никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю — любил ли его, да разве это важно — любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал всё новое и тотчас высасывал смысл всего.

— Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: — Здравствуйте, — удовольствия для меня, а для вас толку немного в этом, но все-таки — здравствуйте!

Выйдет он — маленький. И все сразу станут меньше его. Мужицкая борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» — древняя, холопья привычка! — начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

— Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй во веки и прими поклон мой!

Это — московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

— Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника . . .

И вдруг из-под мужицкой бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, — тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синеют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для холопов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей — москвичем — возвращаться из Ясной Поляны в Москву, так он долго отдышаться не мог, всё улыбался жалобно и растерянно твердил:

— Н-ну, — баня. Вот строг . . . фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

— А, ведь, я думал — он и в самом деле анархист. Все твердят — анархист, анархист, я и поверил . . .

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, — зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах — на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и — не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость — жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

— Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

— Не любите вы меня? — Да, сегодня я вас не люблю.

В вопросах он был беспощаден, в ответах — сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете — с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове — холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и — на-те! — подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза — и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке, и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

— Вот — писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот — проще, искреннее. Если б он в Бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

— А как же вы говорили — тульский писатель и — таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

— Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант — это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, — все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

— Ему бы познакомиться с учением Конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это — главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится, — на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал

многое, а думал — плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и других. Потом — ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнителен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю — почему! Ведь, тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё, — не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, — вы читали его?

— Да. Очень люблю, особенно — язык.

— Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, — ничего, не обидно, что я так говорю? Я — старик, и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне всё кажется, что она — не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, — я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы — он обратился к Чехову — вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

— Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я во век не забуду восторга, испытанного мною тогда, — восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом все вокруг стало живительно-свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, из-

обильной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

— А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, — скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь — возьмика меня тогда! — И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытливое озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился Чаадаевский скептицизм. Проповедывало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте — озорник Новгородский, а Чаадаевское усмехалось над этими забавами души да — кстати — и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это — удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко из'ездивший все пустыни мысли в поисках всеоб'емлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него и — хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и Ясно-Полянский дом, и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом

лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

— «Преувеличивает старичек!»

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить, и как стала чиста душа его, приняв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

— Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное . . .

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы — о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжко и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, — в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время — очень личное. Словно его однажды оскорбили, и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, — это было в Хамовниках, — усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся — так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

— Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей

хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему — это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное — неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно, — это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выспрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

— Говорят — вы очень начитанный, — правда? Что Короленко — музыкант?

— Кажется, нет. Не знаю.

— Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

— Да, очень.

— Это — по контрасту. Он — лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

— Да.

— Неправда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинялся влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, — он, взглянув на меня, спросил:

— Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это не верно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы, действительно, много читали, — смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

— Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад, и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казаков», «Холстомера», «Войны», а барина, который,

снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем — представление, с которым я сжился, и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботики — настоящие мокроступы, — повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин об'яснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

— Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной . . . —

очень хорошо, очень верно!

Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, этаким старым зверобоем, как гикнет. А потом — взглянул на меня с невыразимой улыбочкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, — коршун реял над скотным двором, сделает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

— Злодей на кур целит наших. Вот — вот . . . вот сейчас . . . ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера . . .

И — позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, — исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

— Не надо бы кричать, он бы и так удрал . . .

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

— Вы знали его? — оживленно спросил Л. Н. — Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский — высокий, длиннобородый, худой, с огромными глазами, — надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, вареного

в красном вине, вооруженный огромным холщевым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол, и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятясь задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

— Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный. Мне он так и представлялся, особенным. Среди писателей радикалов он — самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация — варварская, а культура дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование — лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ — согласен, помните, каков у него Поль Астье?

— А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

— Норманны — это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось — и думаю, я не ошибаюсь — Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» — я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

— Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

— Ему мешает медицина, не будь он врачем, — писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

— Притворяется англичанином, что всего хуже удается москвичу.

Мне он не однажды говорил:

— Вы — сочинитель. Все эти ваши Кувалды — выдуманы.

Я заметил, что Кувалда — живой человек.

— Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового

судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

— Белая кость! — говорил он, смеясь и отирая слезы. — Да, да — белая кость! Но — какой милый, какой забавный. А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы — романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилием.

— А насилие — главное зло! — воскликнул он, взяв меня под руку. — Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» — это не сочинено, это хорошо, потому что не выдумано. А когда вы думаете — у вас рыцари родятся, все Амадисы и Зигфриды . . .

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших — все строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

— Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы — сомнительный социалист. Вы — романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

— А Гюго?

— Это — другое, Гюго. Не люблю его — крикун.

Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой — по его мнению — выбор книг.

— Гиббон, это хуже Костомарова, надо читать Момсена, — очень надоедный, но — солидно всё.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною — «Братья Земганно», он даже возмутился.

— Вот видите — глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще — Мопассан, но Чехов — лучше его. А Гонкуры — сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило

Л. Н., — он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

— Никакого вырождения нет, — говорил он, — это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия — страна шарлатанов, авантюристов, — там родятся только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

— А Гарибальди?

— Это — политика, это — другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

— Это неправда, это только в умных книжках пишут . . .

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

— Вот это — правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

— Но, ведь, рыцари будут, Л. Н.!

— Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, — это чудесно! Это — настоящее: вы — грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой — скучающий, стяжатель-строитель, — тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а — вдруг — убил, — ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои — ложь, выдумка, есть просто люди, люди и — больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

— Все мы — ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь и вдруг — станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого — убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

— Вот поэтому я и говорю, что художество — ложь, обман и произвол, и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты

сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина — почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямотою мысли, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого Бога.

Рассказывал он:

— Иду я, — как-то, в конце мая, Киевским шоссе; земля — рай, всё ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и всё кругом — празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и Бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, — возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые, синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи — Ты, — творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне . . .

— Да, вот видите, что бывает. Природа, — ее богомилы считали делом дьявола — жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это — для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, — в плоть данной ему. Мы носим это в себе, как неизбежное наказание, а — за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись — были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

— Да, — за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

— Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы — как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

— В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе, лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокру, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

— Сядемте здесь . . . Это — самое ужасное, самое противное — пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и — не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронься до нее — месяц руки не отмоешь — ужас. А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

— Ма-ам . . . да ма-амка же. Встань же . . .

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять — шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шопотом:

— Да, да, — ужас! Вы много видели пьяных женщин! Много, — ах, Боже мой! Вы — не пишите об этом, не нужно!

— Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

— Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

— Не знаю. Это я — так . . . стыдно писать о гадостях. Ну — а почему не писать? Нет, — нужно писать всё, обо всем . . .

На глазах у него показались слезы. Он вытер их и, всё улыбаясь — посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

— Плачу, — сказал он. — Я — старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И легонько, толкая меня локтем:

— Вот и вы, — проживете жизнь, а все останется, как было, — тогда и вы заплачете, да еще хуже меня, — «ручьистее», говорят бабы . . . А писать всё надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, — неправда, не вся правда, скажет. Он — строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

— Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже

были маленьким, такой вы — странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а — знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно-пышной, хвастливо-разнузданной растительности, он, Лев Толстой — даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! — маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко-земных корней, весь такой узловатый, — среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, — хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многое позабыто им, многое ново для него, все — так, как надо, но — не вполне так, и нужно тотчас найти — что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

— Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это — тоже нехорошо, — это от недоверия к себе. Я — много пишу, и это нехорошо, потому что — от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по моему. Конечно, — я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты — ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь — во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, — это уже бывало с тобой. Вцепишься, подержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

— И все так?

— Все? — повторил Л. Н. — Нет, не все.

И неожиданно спросил меня, — точно ударил:

— Вы почему не веруете в Бога?

— Веры нет, Л. Н.

— Это — неправда. Вы по натуре верующий и без Бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся — не поймет, да и храбрости нет. Для веры — как для любви — нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе — верую, — и все будет хорошо, все явится таким, как вам нужно, само себя об'яснит вам и привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше — тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину — так самую лучшую на земле, — непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже — вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год — в другую. Душа таких людей — бродяга, она живет бесплодно, это — нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите — красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное — Бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджав под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

— От этого — не отмолчитесь, нет!

А я, неверующий в Бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

— Этот человек — богоподобен!

М. М. Коцюбиньский.

«Прекрасное, это редкое», — говорили Гонкуры. Он был одним из тех редких людей, которые при первой же встрече с ними вызывают благостное чувство удовлетворения: именно этого человека ты давно ждал, именно для него у тебя есть какие-то особенные мысли!

В мире идей красоты и добра, он «свой» человек, родной человек, и с первой встречи он возбуждает жажду видеть его возможно чаще, говорить с ним больше.

Обо всем подумавший, он как-то особенно близок хорошему, и в нем кипит органическая брезгливость к дурному. У него тонко развита эстетическая чуткость к доброму, он любит добро любовью художника, верит в его победную силу, и в нем живет чувство гражданина, которому глубоко и всесторонне понятно культурное значение, историческая стоимость добра.

Однажды, рассказывая ему план организации на Руси широкого демократического книгоиздательства, я услыхал его мягкий голос, задумчивые слова:

— Нужно бы вести из года в год «Летопись проявления человечного», — ежегодно выпускать обзор всего, что сотворено за год человеком в области его заботы о счастье всех людей. Это было-бы прекрасное пособие людям, для знакомства их с самими собою, друг с другом. Нас, ведь, больше знакомят с дурным, чем с хорошим. А для демократии такие книги имели бы особенно огромное значение . . .

Он очень часто говорил о демократии, о народе и всегда это было как-то особенно приятно слушать и поучительно.

Я рассказал ему однажды, тихим вечером, легенду о калабрийце Чиро, угольщике, который в 49 году, во время борьбы Сицилии против Фердинанда Бомбы, пришел к благородному Руджиера Сеттимо и простодушно предложил:

— Синьор, если неаполитанский деспот победит, он, наверное, захочет отрубить Вам голову, — да? Тогда, синьор, предложите ему три головы за одну вашу: вот эту, мою голову, голову брата моего и зятя. Мы все ненавидим Бомбу, так же, как и вы, синьор, но, — маленькие люди, — мы не сумеем так умно и успешно бороться за свободу, как умеете вы. Я думаю, что от этой меры народ очень выиграет, а Бомба, вероятно, с большим удовольствием убьет троих, вместо одного, — ведь, он, бездельник, любит убивать! Мы же с радостью умрем за свободу.

Легенда понравилась Михаилу Михайловичу; радостно поблескивая ласковыми глазами, он сказал:

— Демократия всегда романтична и это хорошо, знаете! Ведь, романтизм наиболее человечное настроение: мне думается, что его культурный смысл недостаточно понят. Он — преувеличивает, ну-да! Но — ведь, он преувеличивает добрые начала, свидетельствуя этим, как велика жажда добра в людях.

Был такой случай; ощенилась, впервые и очень мучительно, большая романская овчарка, щенята рождались мертвыми, собака, истерзанная болью, почти издыхала, и эта тяжелая картина вызвала совершенно ясное чувство сострадания у фокстерьера, тоже суки, но еще не родившей.

Маленькая, изящная собака поражала напряженностью своих ощущений: с тихим воем бегая вокруг овчарки, она слизывала слезы с ее измученных глаз и сама плакала; мчалась в кухню, хватала там кости и стремглав несла их больной, бежала к людям и, тихонько, жалобно лая, прыгала на них, как бы прося о помощи и все плакала, — капали слезы из ее прекрасных глаз. Это было очень трогательно и даже немного жутко.

— Это — удивительно! — волнуясь сказал Коцюбиньский. — И я ничем иным не могу себе об'яснить такой силы чувства у собаки, как тем, что люди создали уже вокруг себя настолько неотразимую и внушительную атмосферу человечности, которая способна перевоспитать даже животное, привив ему нечто от души человека.

Человечность, красота, народ, Украина — это любимые темы бесед Коцюбиньского, они всегда были с ним, как его сердце, мозг и славные ласковые глаза.

Он очень любил цветы и, обладая солидными знаниями бо-

таника, говорил о них, как поэт. Было приятно видеть, когда он, держа в руке цветок, ласкал его и рассказывал о нем:

— Смотрите, вот орхидея приняла форму пчелы: этим она желает сказать, что не нуждается в посещении насекомых. Сколько разума всюду, сколько красоты!

Его больное сердце мешало ему ходить по неровным тропинкам Капри, по камням, горячо нагретым солнцем в жарком воздухе, густо насыщенном запахом цветов, но он не щадил себя, гулял много, часто — до утомления.

И когда, бывало, скажешь ему:

— Зачем вы позволяете себе уставать?

Он отвечал, легко побеждая советы благоразумия.

— Хочется видеть как можно больше: мне ведь не долго жить на земле, а я ее — люблю . . .

Он особенно нежно любил свою Украину и часто слышал запах чебреца там, где его не было.

А однажды, увидев у белой стены рыбацкого дома, бледно-розовые мальвии, — весь осветился улыбкой и, сняв шляпу, сказал цветам:

— Здоровеньки були! Як живеться на чужини?

Сконфузился и пошутил:

— Знаете — немножко сантиментальным становлюсь! Но ведь, и вам, думаю, не редко вздыхается по белой березе, которой вас секли, бывало? Э, все люди — люди, а кто не человек, — да будет ему стыдно!

Он любил Капри и писал о нем:

«Чувствую себя не важно, мне только хорошо на Капри. Впечатления от каприйской природы так гармоничны и так благотворно действуют на мою психику, что положительно оздоровляют меня».

Но я думаю, что это не совсем верно и тепличный воздух острова не был полезен ему. А к тому же его украинское червонное сердце всегда было на родине, — ее скорбями он жил, ее муками мучился.

Бывало, видишь: идет он тихо, немножко согнувшись, обнажив сияющую голову, с тем вдумчивым лицом, как на портрете Жука, видишь и догадываешься: думает о своей Черниговщине.

Так и есть: пришел в свою белую комнату, сел утомленно в кресло и говорит:

— Знаете, там, по пути к Arca Naturale, стоит хата совсем такая как у нас! И люди в ней — наши: дидусь такой ветхий и мудрый, сидит на пороге с трубкой и баба такая же, да еще и дивчина с карыми очами — полная иллюзия. Только вот горы, камень, море! А то — все, и солнце, как у нас!

И начинал тихонько говорить о судьбах родины, о будущем ее, о ее людях, любимых им крепко, о литературе, о благотворной работе загубленного ныне «Просвіта». Слушаешь его и видишь человека, который именно обо всем подумал и то, что знает, знает хорошо.

В июне 1911 года он писал с Карпат, из Криворивни:

«Все время провожу в экскурсиях по горам, верхом на гуцульском коне, легком и грациозном, как балерина. Побывал в диких местах, доступных немногим, на «полонинах», где гуцуловы громады проводят со своими стадами все лето. Если бы знали, как величественна здесь природа, какая первобытная жизнь! Гуцулы — оригинальнейший народ, с богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубокий язычник — гуцул всю свою жизнь, до смерти, проводит в борьбе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. Христианством он воспользовался только для того, чтобы украсить языческий культ. Сколько здесь красивых сказок, преданий, поверий, символов. Собираю материалы, переживаю природу, смотрю, слушаю и учусь».

А в следующем письме из Чернигова ему пришлось сказать:

«Не утерпел я, взбирался на горы и, конечно, повредил своему здоровью: но было необычайно красиво, а это — главное».

Не щадя, в стремлении к знанию жизни и красоты ее, своих физических сил, он и к своему таланту поэта относился чрезмерно строго, пред'являл к себе требования слишком суровые: «чувство недовольства собою у меня очень развито», не однажды говорил он мне. «Мои рассказы всегда кажутся мне бледными, неинтересными, ненужными и даже как-то совестно перед литературой и читателем», писал он в 1910 г.

Эти мысли, казалось мне, всегда были с ним и неотступно точили его измученное сердце.

Спрашивает:

— Вам нравится «Самотній»?

— Это лучшие из трех ваших произведений в прозе, а они, все на мой взгляд, очень хороши . . .

Он грустно улыбается:

— А я прочитал сегодня утром и стало неловко. Никому это не нужно, не интересно никому. Что за вой? Все люди одиноки. И не так жутко писать об этом проклятии нашем!

Потом продолжал уже сердито:

— Да там еще в конце гордый крик есть, — это уже и не искренно, а так сказано, — для самоутешения. Чем тут гордиться? Одинок, значит, не нужен никому.

Мы часто беседовали на эту тему и всегда он жестоко казнил себя.

— Смотрите, как это хорошо:

— Жаль маю до землі
Бо тіні, що вкривають її
Пересунуться на инше місце
І де було тьмяно и сумно
Знов ляже золото сонця . . .

Он усмехнулся и тотчас переделал эти строки в юмористическое стихотворение . . .

Однажды ему сказали:

— Какая верная и страшная вещь ваш «Сміх».

Он небрежно отмахнулся рукою:

— Да это ж заимствовано! И неумело сделано, — в жизни этот смех страшней и законней.

Иногда было досадно, чаще — больно слышать такие возгласы: — много звучало в них великой искренней муки.

Но, относясь безжалостно к себе, к другим он относился очень снисходительно, умея всюду, даже в плохом, найти хорошее — меткое слово, звучную фразу.

— Дорогой мой, — сказал он однажды ночью, когда море и остров молчат так странно, точно в тихом изумлении ждут чего-то необычайного, — столько видано, столько пережито, в душе волнуется целый мир образов, мыслей, каких-то, до слез простых и ласковых песен! Так бы дождем с неба и опрокинул все это на землю, на людей, а — не удается, не умеется!

Не удавалось, — да, но — он мог бы, он бы сумел написать прекрасные большие вещи: многое у него было уже до конца продумано, готово и — красиво, оригинально, по своему. Не удавалось потому, что за три года нашего знакомства, почти в каждом письме его звучала, все усиливаясь, одна и та же нота:

«Должен сознаться, что со мною что-то не ладно. Сердце работает все хуже и хуже, порою приходится ложиться в постель, работа так утомляет меня, что нет сил приняться за что-либо другое».

«Почти ничего не удалось заработать зимою, значит, создалось трудно одолимое препятствие. А между тем вилла в четыре комнаты за 65 лир, с доброй хозяйкой, манят и улыбаются».

И наконец 9—X, 912 он писал:

«Плохо мне, дорогой А. М., болею упорно, продолжительно и жестоко; хуже всего — не могу работать. Остается попробовать героические средство: лечь в больницу, на продолжительное время, для чего на днях отправляюсь в Киев».

А из клиники Образцова он бодро сообщает:

«Перевели меня наконец в Киев, уложили в комнатку, «как тяжелого сердечника». Однако, я нахожу, что иногда чудесно эдак побаловаться! Какие великолепные люди посещают меня ежедневно, принося мне все, что я люблю, — цветы, книги, самих себя! В окно смотрит то же солнце, которое вас греет и оттого кажется еще теплей и ласковей».

Он любил сказать человеку ласковое, хорошее слово— даже в этот день, сильно огорченный накануне смертью Н. В. Лысенка, все-таки нашел в душе, это слово «милый» . . .

Он знал, что скоро умрет и нередко говорил об этом просто, без страха, но и без наигранной бравады, которою многие рисуются столь лживо.

— Смерть необходимо победить, и она будет побеждена! — сказал он однажды. — Я верю в победу разума и воли человека над смертью так же, как в то, что сам — скоро умру. И еще умрут миллионы людей, а все-таки, со временем, смерть станет простым актом нашей воли, — мы будем отходить в небытие так же сознательно, как отходим ко сну. Смерть будет побеждена тогда, когда большинство людей ясно сознают цену жизни, поймут ее красоту, почувствуют наслаждение работать и жить.

Человек высокой духовной культуры, солидно вооруженный знанием естественных наук, он внимательно следил за всем, что творится в области борьбы со смертью, но и поэзия умирания, поэзия непрерывной смены формы тонко чувствовалась им

Не раз, благодарно глядя на серые скалы Капри, богато одетые пышной зеленью трав и цветов, он говорил:

— Какая сила жизни! Мы привыкли к этому и не замечаем победы живого над мертвым, действенного над инертным, и мы как бы не знаем, что солнце творит цветы и плоды из мертвого камня, не видим, как всюду торжествует живое, чтоб бодрить и радовать нас. Мы должны бы улыбаться миру дружески . . .

Он очень умел улыбаться так, — всему улыбкой друга. По поводу смерти Л. Н. Толстого он писал:

«Больно мне было читать, что вы так тяжело пережили смерть Толстого. Мне тоже тяжело было, но не знаю, стыдиться-ли? — и хорошо знать, что на свете бывает большое. Смерть как будто вернее определяет размеры, чем жизнь».

Для меня смерть Михаила Коцюбиньского определилась, как тяжелая личная утрата, я потерял сердечного товарища.

Прекрасный, редкий цветок, ласковая звезда погасла. Трудно жилось ему: быть честным человеком на Руси очень дорого стоит.

Беднеет наше время хорошими людьми, — насладимся грустью воспоминаний о них, о красоте этих светлых душ, любивших беззаветно людей и весь мир, о сильных людях, которые умели работать для счастья родины своей.

Вечная память честным людям!

Леонид Андреев.

Весною 1898 г. я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бергамот и Гараська» — пасхальный рассказ обычного типа; направленный к сердцу праздничного читателя, он еще раз напоминал, что человеку доступно — иногда, при некоторых особых условиях, — чувство великодушия, и что порою враги становятся друзьями, хотя и не надолго, скажем — на день.

Со времен «Шинели» Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысячи таких нарочито трогательных рассказов; — вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые, якобы, должны украсить нищенскую жизнь больной и жесткой русской души[1]).

Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а, кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту, — улыбочка эта легко примиряла с неизбежным сентиментализмом «пасхальной» и «рождественской» литературы.

Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ; — оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

«Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда.»

С этого началось мое заочное знакомство с Леонидом Николаевичем Андреевым. Летом я прочитал еще несколько маленьких

[1]) Весьма вероятно, что в ту пору я думал не так, как изображаю теперь, но старые мои мысли — неинтересно вспоминать.

рассказов его и фельетонов Джемса Линч, наблюдая, как быстро и смело развивается своеобразный талант нового писателя.

Осенью, проездом в Крым, в Москве, на Курском вокзале, кто-то познакомил меня с Л. Андреевым. Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуёмно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден.

Зимою, на пути из Крыма в Нижний, я остановился в Москве, и там наши отношения быстро приняли характер сердечной дружбы.

Я видел, что этот человек плохо знает действительность, мало интересуется ею, — тем более удивлял он меня силой своей интуиции, плодовитостью фантазии, цепкостью воображения. Достаточно было одной фразы, а иногда — только меткого слова, чтобы он, схватив ничтожное данное ему, тотчас развил его в картину, анекдот, характер, рассказ.

— Что такое С.? — спрашивает он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору.

— Тигр из мехового магазина.

Он смеется и, понизив голос, точно сообщая тайну, торопливо говорит:

— А — знаете — надо написать человека, который убедил себя, что он — герой, эдакий разрушитель всего сущего и даже сам себе страшен, — вот как! Все ему верят, — так хорошо он обманул сам себя. Но где-то в своем уголке, — в настоящей жизни, он — просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки.

Нанизывая слово за словом на стержень гибкой мысли, он легко и весело создавал всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, — я спросил его: как это случилось?

— Экивок юношеского романтизма — ответил он. — Вы сами знаете, — человек, который не пробовал убить себя, — дешево стоит.

Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его.

В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне, — мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, — один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята, и если поезд идет на под'ем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезда, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

— Что влекло вас к такой нелепой забаве? — спросил Л. Н.

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

— Нет, — возразил он, — это слишком мудрено, не по-детски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку» — качаются на упругом

льду только-что замерзшего пруда или затона реки, я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.

Он помолчал, закурил папиросу и, тотчас бросив ее, посмотрел прищуренными глазами в темный угол комнаты.

— Нет, это, должно быть, не так. Почти все дети боятся темноты . . . Кто-то сказал:

— «Есть наслажденье в бою
И бездны мрачной на краю»,

но — это «красное словцо», не больше. Я думаю как-то иначе, только не могу понять — как?

И вдруг встрепенулся весь, как бы обожжен внутренним огнем.

— Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь, — безумно страдая, — искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — зажгли в душе ненависть к тебе». Как вы думаете?

Мне эта тема не понравилась; он вздохнул, говоря:

— Да, сначала нужно ответить, где истина — в человеке или вне его? По-вашему — в человеке?

И засмеялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно . . .

Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л. Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разноречия не мешали нам — целые годы — относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которое не часто является результатом даже долголетней дружбы. Беседовали мы неутомимо, помню — однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая, — Леонид поглощал его в неимоверном количестве.

Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль и обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но — легкая, капризно своеобычная, она свободно отливалась в формы юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял — к сожалению — эту способность, редкую для русского.

Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было

почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.

— Пишу я трудно, — сознавался он. — Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок. И бывает так: я написал слово — паутина, вдруг, почему-то, вспоминается геометрия, алгебра и учитель Орловской гимназии — человек, разумеется, — тупой. Он часто вспоминал слова какого-то философа: «Истинная мудрость — спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К чорту спокойную мудрость! А что же на ее место? Красоту? Да здравствует! Однако, хотя я не видел Венеру в оригинале, — на снимках она кажется мне довольно глупой бабой. И вообще — красивое всегда несколько глуповато, например — павлин, борзая собака, женщина.

Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека, — не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действительность знакома излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника, — хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага, — напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть.

Читать Л. Н. не любил и, сам являясь делателем книги — творцом чуда, — относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетиш, как для дикаря, — говорил он мне. — Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня Илиада, Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» — скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара.

Я слишком часто слышал эти обычные слова о влиянии школы на отношение к литературе, и они давно уже звучали для меня неубедительно, — в них чувствовался предрассудок, рожденный русской ленью. Гораздо более индивидуально рисовал Л. Андреев, как рецензии и критические очерки газет мнут и портят книги, говоря о них языком хроники уличных происшествий.

— Это — мельницы, они перемалывают Шекспира, Библию — все, что хочешь, — в пыль пошлости. Однажды я читал газетную статью о Дон-Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот — знакомый мне старичок, управляющий Казенной Палатой, у него был хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее — Милли, а в действительности — на бульварах — ее звали Сонька Пузырь . . .

Но относясь к знанию и книге беззаботно, небрежно, а иногда — враждебно, он постоянно и живо интересовался тем, что я читаю. Однажды, увидав у меня в комнате «Московской гостиницы» книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды, спросил удивленно:

— Это зачем тебе?

Я рассказал ему о странном епископе-полуязычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости». «Что может быть плешивее, что божественнее сферы?»

Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и всё еще улыбаясь, он сказал:

— Знаешь, — это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о Боге — очень глупое, — добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: «Всё это — чепуха». Но для них вера необходима, и они убивают его.

Я был поражен его словами; дело в том, что у Синезия есть такая мысль:

«Если бы мне сказали, что епископ должен разделять мнения народа, то я открыл бы пред всеми, кто я есть. Ибо что может быть общего между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народ же имеет нужду в другом».

Но эту мысль я не сообщил Андрееву и не успел сказать ему

о необычной позиции некрещенного язычника-философа в роли епископа христианской церкви. Когда же я сказал ему об этом, он, торжествуя и смеясь, воскликнул:

— «Вот видишь, — не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать».

Леонид Николаевич был талантлив по природе своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, — он был жутко догадлив. Пример с епископом Синезием — не единичен, я могу привести десяток подобных.

Так, беседуя с ним о различных искателях незыблемой веры, я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова, — об одном из произведений безвестных мучеников мысли, которые вызвали к жизни «Исповедь» Льва Толстого. Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата, — они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фанатически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней.

Андреев задумался, медленно помешивая ложкой в стакане чая, потом сказал, усмехаясь:

— Странно мне, что ты понимаешь это, — говоришь ты, как атеист, а думаешь, как верующие. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камне могилы твоей: «Призывая поклоняться разуму, он тайно издевался над немощью его».

А через две-три минуты, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

— Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался.

— Завтра еду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»...

На другой же день он уехал в Москву, а через неделю — не более — писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах». Так всегда он хватал на лету всё, что отвечало потребности его духа в соприкосновении к наиболее острым и мучительным тайнам жизни.

Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски-пестрым галстухом, а на ногах — желтые ботинки.

— Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине на Кузнецком напугала меня, что палевые уже не в моде. Подозреваю, что она — соврала, наверное, дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что всё это великолепие — неудобно, и рубашка гораздо лучше.

И вдруг, обняв меня за плечи, сказал:

— Знаешь — мне хочется гимн написать, еще не вижу — кому или чему, но обязательно — гимн! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное — бомм!

Я пошутил над ним.

— Что же! — весело воскликнул он. — Ведь у Екклезиаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя там что-то не так, а — о льве и собаке: «В домашнем обиходе плохая собака полезнее хорошего льва». А — как ты думаешь: Иов мог читать книгу Екклезиаста?

Упоенный вином радости, он мечтал о поездке по Волге на хорошем пароходе, о путешествии пешком по Крыму.

— И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя в этих кирпичах, — говорил он, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучие ребенка, который слишком долго голодал, а теперь думает, что навсегда сыт.

Сидели на широком диване в маленькой комнате, пили красное вино, Андреев взял с полки тетрадь стихов:

— Можно?

И стал читать вслух:

— «Медных сосен колонны,
Моря звон монотонный».

— Это Крым? А вот я не умею писать стихи, да и желания нет. Я больше всего люблю баллады, вообще:

— «Я люблю все то, что ново,
Романтично, бестолково,
Как поэт
Прежних лет».

— Это поют в оперетке — «Зеленый остров», кажется.

— «И вздыхают деревья,
Как без рифмы стихи».

— Это мне нравится. Но — скажи — зачем ты пишешь стихи? Это так не идет к тебе. Все-таки стихи — искусственное дело, как хочешь.

Потом сочиняли пародии на Скитальца:

— «Возьму я большое полено
В могучую руку мою
И всех — до седьмого колена —
Я вас перебью!
И пуще того огорошу —
Ура! Тррепещите! Я рад. —
Казбеком вам в головы брошу,
Низвергну на вас Арарат!»

Он хохотал, неистощимо придумывая милые смешные глупости, но вдруг, наклонясь ко мне, со стаканом вина в руке, заговорил не громко и серьезно:

— Недавно я прочитал забавный анекдот: в каком-то английском городе стоит памятник Роберту Бёрнсу — поэту. Надписи на памятнике — кому он поставлен, нет. У подножия его — мальчик, торгует газетами. Подошел к нему какой-то писатель и говорит: «Я куплю у тебя номер газеты, если ты скажешь — чья это статуя?» «Роберта Бёрнса» — ответил мальчик. «Прекрасно! Теперь — я куплю у тебя все твои газеты, но скажи мне: за что поставили памятник Роберту Бёрнсу?» Мальчик ответил: «За то, что он умер». Как это нравится тебе?

Мне это не очень нравилось, — меня всегда тяжко тревожили резкие и быстрые колебания настроений Леонида.

Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхом рубище певца», — он хотел ее много, жадно и не скрывал этого. Он говорил:

— Еще четырнадцати лет я сказал себе, что буду знаменит, или — не стоит жить. Я не боюсь сказать, что все сделанное до меня не кажется мне лучше того, что я сам могу сделать. Если ты сочтешь мои слова самонадеянностью, ты — ошибешься. Нет, видишь ли, это должно быть основным убеждением каждого, кто не хочет ставить себя в безличные ряды миллионов людей.

Именно убеждение в своей исключительности должно — и может — служить источником творческой силы. Сначала скажем самим себе: мы не таковы, как все другие, потом уже легко будет доказать это и всем другим.

— Одним словом, — ты ребенок, который не хочет питаться грудью кормилицы . . .

— Именно: я хочу молока только души моей. Человеку необходимы любовь и внимание или — страх пред ним. Это понимают даже мужики, надевая на себя личины колдунов. Счастливее всех те, кого любят со страхом, как любили Наполеона.

— Ты читал его «Записки»?

— Нет. Это — не нужно мне.

Он подмигнул, усмехаясь:

— Я тоже веду дневник и знаю, как это делается. Записки, исповеди и все подобное — испражнения души, отравленной плохою пищей.

Он любил такие изречения и, когда они удавались ему, искренно радовался. Несмотря на его тяготение к пессимизму, в нем жило нечто неискоренимо детское, — например, ребячливо наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге.

Однажды я рассказывал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

— Я — женщина честная, мне не к чему ногти чистить — так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, — женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски-искренно стал хвастаться.

— Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнес длинную речь в похвалу себе. Но — умница — понял, что это немножко смешно и кончил свою тираду юмористическим шаржем.

— Со временем я так разовью мои гениальные способности,

что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи . . .

Но все-таки критическое отношение к самому себе у него было развито не особенно сильно, это, порою, весьма портило и его работу и жизнь.

Леонид Николаевич странно и мучительно резко для себя раскалывался на-двое: — на одной и той же неделе он мог петь миру — «Осанна»! и провозглашать ему — «Анафема»!

Это не было внешним противоречием между основами характера и навыками или требованиями профессии, — нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И, чем более громко он возглашал «Осанна»! — тем более сильным эхом раздавалась — «Анафема»!

Он говорил:

— Ненавижу суб'ектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них загорит лицо или выцветет пиджак, — ненавижу всех, кто из побуждений догматических препятствует свободной, капризной игре своего внутреннего «я».

Однажды он написал довольно едкий фельетон о людях теневой стороны, а вслед за этим — по поводу смерти Эмиля Золя от угара — хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом, довольно обычным в ту пору. Но, беседуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявил:

— А все-таки, знаешь, собеседник-то мой более последователен, чем я: писатель должен жить, как бездомный бродяга. Яхта Мопассана — нелепость!

Он — не шутил. Мы поспорили, я утверждал: чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, — хотя бы и маленьким, тем быстрей развивается культура тела и духа. Он возражал: нет, прав Толстой, культура — мусор, она только искажает свободный рост души.

— «Привязанность к вещам» — говорил он — это фетишизм дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, иначе ты погас, — вот истина! Сегодня сделай книгу, завтра — машину, вчера ты сделал сапог и уже забыл о нем. Нам нужно учиться забывать.

А я говорил: необходимо помнить, что каждая вещь — воплощение духа человеческого, и часто внутренняя ценность вещи значительнее человека.

— Это поклонение мертвой материи, — кричал он.

— В ней воплощена бессмертная мысль.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием . . .

Спорили мы все чаще, все напряженнее. Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли.

Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, — верю, что ее бессилие — временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естественно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной.

Леонид воспринимал мысль, как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необ'яснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама — гаснет.

Столь же непримиримо расходились мы во взгляде на человека, источник мысли, горнило ее. Для меня человек всегда победитель, даже и смертельно раненый, умирающий. Прекрасно его стремление к самопознанию и познанию природы, и хотя жизнь его мучительна, — он всё более расширяет пределы ее, создавая мыслью своей мудрую науку, чудесное искусство. Я чувствовал, что искренно и действительно люблю человека — и того, который сейчас живет и действует рядом со мною, и того, умного, доброго, сильного, который явится когда-то в будущем. Андрееву человек представлялся духовно нищим; сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его «суета сует», тлен и самообман. А главное, он — раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее.

Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь.

Это звучит, как пародокс, но — это правда: когда таинственный трепет горения чужого «я» ощущается тобою, волнует тебя, — боишься дотронуться кривым, тяжелым словом твоим до невидимых лучей дорогой тебе души, боишься сказать не то, не так: не хочешь исказить чувствуемое и почти неуловимое сло-

вом, не решаешься заключить чужое, хотя и общезначимое, человечески-ценное в твою тесную речь.

Гораздо легче и проще рассказывать о том, что чувствуешь недостаточно ясно, — в этих случаях многое — и даже все, что ты хочешь — можно добавить от себя.

Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря — я видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, — он был, все-таки, слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и раз'единяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, — и, по естественной гордости человечьей, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти.

Однажды я рассказал Леониду о том, как мне довелось пережить тяжелое время «мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы», о «каменной тьме» и «неподвижности, уравновешенной на веки», — он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость, — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любуешься, обманывая себя и других, — глупенькие цветочки! . .

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры — все это только сердило его.

Мы беседовали в Петербурге, осенью, в пустой, скучной комнате пятого этажа. Город был облечен густым туманом, в серой массе тумана недвижимо висели, радужные, призрачные

шары фонарей, напоминая огромные мыльные пузыри. Сквозь жидкую вату тумана к нам поднимались со дна улицы нелепые звуки, — особенно надоедливо чмокали по торцам мостовой копыта лошадей.

Там, внизу, со звоном промчалась пожарная команда. Леонид подошел ко мне, свалился на диван и предложил:

— Едем смотреть пожар?

— В Петербурге пожары не интересны.

Он согласился:

— Верно. А, вот, в провинции, где-нибудь в Орле, когда горят деревянные улицы, и мечутся, как моль, мещане — хорошо! И голуби над тучей дыма — видел ты?

Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — все видел, чорт тебя возьми! И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота!

И — бодая меня головою в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу.

Я сказал, что чувствую это.

— Да, — подтвердил он, укладывая голову на колени мне. — Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью, — тогда мы были бы ближе друг другу, — ты, ведь, знаешь, как я одинок!

Да, он был очень одинок, но, порою, мне казалось, что он ревниво оберегает одиночество свое, оно дорого ему, как источник его фантастических вдохновений и плодотворная почва оригинальности его.

— Ты — врешь, что тебя удовлетворяет научная мысль, — говорил он, глядя в потолок угрюмо темным взглядом испуганных глаз. — Наука, брат, тоже мистика фактов: никто ничего не знает — вот истина. А вопросы — как я думаю и зачем я думаю, источник главнейшей муки людей, — это самая страшная истина! Едем куда-нибудь, пожалуйста . . .

Когда он касался вопроса о механизме мышления — это всего более волновало его. И — пугало.

Оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне, к нам неотвязно пристали три девушки, одна из них стройная эстонка, назвала себя «Эльфридой». Лицо у нее было каменное, она смотрела на Андреева большими серыми,

без блеска, глазами с жуткой серьезностью и кофейной чашкой пила какой-то зеленый, ядовитый ликер. От него исходил запах жженой кожи.

Леонид пил коньяк, быстро захмелел, стал буйно остроумен, смешил девиц неожиданно забавными и замысловатыми шутками и, наконец, решил ехать на квартиру к девицам, — они очень настаивали на этом. Отпускать Леонида одного было невозможно, — когда он начинал пить, в нем просыпалось нечто жуткое, мстительная потребность разрушения, какая-то ненависть «плененного зверя».

Я отправился с ним, купили вина, фрукт, конфект, и, где-то на Раз'езжей улице, в углу грязного двора, заваленного бочками и дровами, во втором этаже деревянного флигеля, в двух маленьких комнатах, среди стен, убого и жалобно украшенных открытками, — стали пить.

Перед тем, как напиться до потери сознания, Леонид опасно и удивительно возбуждался, его мозг буйно вскипал, фантазия разгоралась, речь становилась почти нестерпимо яркой.

Одна из девушек, круглая, мягкая и ловкая, как мышь, почти с восхищением рассказала нам, как товарищ прокурора укусил ей ногу выше колена, — она, видимо считала поступок юриста самым значительным событием своей жизни, показывала шрам от укуса и, захлебываясь волнением, радостно блестя стеклянными глазками, говорила:

— Он так любил меня, — даже вспомнить страшно! Укусил, знаете, а — у него зуб вставлен был, — и остался в коже у меня!

Эта девушка, быстро опьянев, свалилась в углу на кушетку и заснула, всхрапывая. Пышно-телая, густоволосая шатенка с глазами овцы и уродливо длинными руками играла на гитаре, а Эльфрида составила на пол бутылки и тарелки, вскочила на стол и плясала, молча, по змеиному изгибаясь, не сводя глаз с Леонида. Потом она запела неприятно густым голосом, сердито расширив глаза, порой, точно переломленная, наклонялась к Андрееву; он выкрикивал подхваченные им слова чужой песни, странного языка, и толкал меня локтем, говоря:

— Она что-то понимает, смотри на нее, видишь? Понимает!

Моментами, возбужденные глаза Леонида как будто слепли; становясь еще темнее, они как бы углублялись, пытаясь заглянуть внутрь мозга.

Утомясь, эстонка спрыгнула со стола на постель, вытянулась, открыв рот и гладя ладонями маленькие груди, острые, как у козы.

Леонид говорил:

— Высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам — судорога полового акта, — да, да! И, может быть, земля, как вот эта сука, мечется в пустыне вселенной, ожидая, чтоб я оплодотворил ее пониманием цели бытия, а сам я, со всем чудесным во мне, — только сперматозоид.

Я предложил ему итти домой.

— Иди, я останусь здесь . . .

Он был уже сильно пьян, и с ним было много денег. Он сел на кровать, поглаживая стройные ноги девушки и забавно стал говорить, что любит ее, а она неотрывно смотрела в лицо ему, закинув руки за голову.

— Когда баран отведает редьки, у него вырастают крылья, — говорил Леонид.

— Нет. Это не правда, — серьезно сказала девушка.

— Я тебе говорю, что она понимает что-то! — закричал Леонид в пьяной радости. Через несколько минут он вышел из комнаты, — я дал девице денег и попросил ее уговорить Леонида ехать кататься. Она сразу согласилась:

— Я боюсь его. Такие стреляют из пистолетов, — бормотала она.

Девица, игравшая на гитаре, уснула, сидя на полу около кушетки, где, всхрапывая, спала ее подруга.

Эстонка была уже одета, когда возвратился Леонид; он начал бунтовать, крича:

— Не хочу! Да будет пир плоти!

И попытался раздеть девушку; отбиваясь, она так упрямо смотрела в глаза ему, что взгляд ее укротил Леонида, он согласился:

— Едем!

Но захотел одеть дамскую шляпу à la Рембрандт и уже сорвал с нее все перья.

— Это вы заплатите за шляпу? — деловито спросила девица.

Леонид поднял брови и захохотал, крича:

— Дело — в шляпе! Ура!

На улице мы наняли извозчика и поехали сквозь туман. Было

еще не поздно, едва за полночь. Невский, в огромных бусах фонарей, казался дорогой куда-то вниз, в глубину, вокруг фонарей мелькали мокрые пылинки, в серой сырости плавали черные рыбы, стоя на хвостах; полушария зонтиков, казалось, поднимают людей вверх, — все было очень призрачно, странно и грустно.

На воздухе Андреев совершенно опьянел, задремал, покачиваясь, девица шепнула мне:

— Я слезу, да?

И, спрыгнув с колен моих в жидкую грязь улицы, исчезла.

В конце Каменноостровского проспекта Леонид спросил, испуганно открыв глаза:

— Едем? Я хочу в кабак. Ты прогнал эту?

— Ушла.

— Врешь. Ты — хитрый, я — тоже. Я ушел из комнаты, чтобы посмотреть, что ты будешь делать, стоял за дверью и слышал, как ты уговаривал ее. Ты вел себя невинно и благородно. Ты вообще нехороший человек, пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я — алкоголик.

Потом мы сидели на «Стрелке» под дурацким пузырем тумана, курили и, когда вспыхивал огонек папирос, — видно было, как сереют наши пальто, покрываясь тусклым бисером сырости.

Леонид говорил с неограниченной откровенностью, и это не была откровенность пьяного, — его ум почти не пьянел до момента, пока яд алкоголя совершенно прекращал работу мозга.

— Если бы я остался с девками, это кончилось бы плохо для кого-то. Все так. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается. Может быть, истинный смысл жизни именно в разрушении чего-то, чего мы не знаем — или — всего, что придумано и сделано нами.

Темные глаза его угрюмо упирались в серую массу вокруг его и над ним, иногда он их опускал к земле, мокрой, усыпанной листьями, и топал ногами, словно пробуя прочность земли.

— Я не знаю, — что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей веры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь,

что все силы жизни исходят от нарушения равновесия, а сам ищешь именно равновесия, какой-то гармонии и меня толкаешь на это, тогда как — по твоему же — равновесие — смерть!

Я возражал: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мне дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.

— Тебе приятна только моя работа, — мое внешнее, — а не сам я, не то, чего я не могу воплотить в работе. Ты мешаешь мне и всем, иди в болото!

Навалился на плечо мне и, с улыбкой заглядывая в лицо, продолжал:

— Ты думаешь, я пьян и не понимаю, что говорю чепуху? Нет, я просто хочу разозлить тебя. Я, брат, декадент, выродок, больной человек. Но Достоевский был тоже больной, как все великие люди. Есть книжка, — не помню, чья, — о гении и безумии, в ней доказано, что гениальность — психическая болезнь! Эта книга — испортила меня. Если бы я не читал ее, — я был бы проще. А теперь, я знаю, что почти гениален, но не уверен в том, — достаточно ли безумен? Понимаешь, — я сам себе представляюсь безумным, чтоб убедить себя в своей талантливости, — понимаешь?

Я — засмеялся. Это показалось мне плохо выдуманным и потому не правдивым.

Когда я сказал ему это, он тоже захохотал и вдруг, гибким движением души, акробатически ловко перескочил в тон юмориста:

— А — где кабак, место священнодействий литературных? Талантливые русские люди обязательно должны беседовать в кабаке, — такова традиция, без этого критики не признают таланта.

Сидели в ночном трактире извозчиков, в сырой, дымной духоте: по грязной комнате сердито и устало ходили сонные «человеки», «математически» ругались пьяные, визжали страшные проститутки, одна из них, обнажив левую грудь — желтую, с огромным соском коровы, — положила ее на тарелку и поднесла нам, предлагая:

— Купите фунтик?

— Люблю бесстыдство, — говорил Леонид, — в цинизме я ощущаю печаль, почти отчаяние человека, который сознает, что он не может не быть животным, хочет не быть, а не может! Понимаешь?

Он пил крепкий, почти черный чай, знал я, что так нравится ему и отрезвляет его, — я нарочно велел заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшие лица пьяниц, Леонид непрерывно говорил:

— С бабами — я циничен. Так — правдивее, и они это любят. Лучше быть законченным грешником, чем праведником, который не может домолиться до полной святости.

Оглянулся, помолчал и говорит:

— А здесь — скучно, как в духовной консистории!

Это рассмешило его.

— Я никогда не был в духовной консистории, в ней должно быть что-то, похожее на рыбный садок . . .

Чай отрезвил его. Мы ушли из трактира. Туман сгустился, опаловые шары фонарей таяли, как лед.

— Мне хочется рыбы, — сказал Леонид, облокотясь на перила моста через Неву, и оживленно продолжал: — Знаешь, как бывает со мной? Вероятно — так дети думают, — наткнется на слово — рыба и подбирает созвучные ему: — рыба, гроба, судьба, иго, Рига, — а вот стихи писать — не могу!

Подумав, он добавил:

— Так же думают составители букварей . . .

Снова сидели в трактире, угощаясь рыбной солянкой, Леонид рассказывал, что его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».

— Не пойду, не люблю их. У них за словами я не чувствую содержания, они «опьяняются» словами, как любит говорить Бальмонт. Тоже — талантлив и — больной.

В другой раз, — помню, — он сказал о группе «Скорпиона»:

— Они насилуют Шопенгауэра, а я люблю его, и потому ненавижу их.

Но это слишком сильное слово в его устах, — ненавидеть он не умел, был слишком мягок для этого. Как-то показал мне в дневнике своем «слова ненависти», но — они оказались словами юмора, и он сам искренно смеялся над ними.

Я отвез его в гостиницу, — уложил спать, но, зайдя после полудня, узнал, что он, тотчас после того, как я ушел, встал, оделся и тоже исчез куда-то. Я искал его целый день, но не нашел.

Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.

У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим, спрашивает:

— Знаешь, что Z. сказал про тебя? — или сообщит:

— A. S. говорит о тебе . . .

И темным взглядом, испытуя, заглядывает в глаза.

Однажды я сказал ему:

— Смотри, — так ты можешь перессорить всех товарищей!

— Ну, что же? — ответил он. — Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были не искренни.

— Чего ты хочешь?

— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтоб каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, Евангелие бабы — Декамерон.

Но через полчаса он осмеял свой отзыв о женщинах, уморительно изобразив беседу эротомана с гимназисткой.

Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины, как начала исключительно чувственного.

Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидал где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.

— Они целовались, и оба плакали, — говорил он — понизив голос и с'еживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.

— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрупкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что целуясь — плачут, и мне было смешно. Борода дьякона зацепилась за крючки растегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул, чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девчонку лет десяти, ощупал ее, грудей у нее не оказалось, значит целовать нечего, и она не

годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседей, коротконогую, без бровей, с большими грудями, — кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод, сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому, что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую толстую девку, никто — понимаешь, — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц!

Он рассказал это превосходно, насытив слова свои милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что, всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.

Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительного золотые жилы красоты, — он комически хитро прищурился, говоря:

— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков . . .

Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.

На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал:

«Начиная с курьерского «Бергамота», здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».

Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свою обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.

— Я написал рассказ, который, наверное, не понравится тебе, — сказал он однажды. — Прочитаем?

Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.

— Это — пустяки, это я исправлю, — оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.

— Вот, — я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?

— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако, это не портит их, как я вижу.

— Рассуждая так, нельзя быть революционером.

— Ты, что же, смотришь на революционера глазами Нечаева — «революционер — не человек?»

Он обнял меня, засмеялся:

— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай, — ведь, когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?

Он волновался, даже покраснел.

Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским конем, а, только, ломовой лошадью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько уменью работать, любви к труду.

— Странный ты человек, — тихо сказал он, прервав мои слова и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнениях души своей. Он не имел общерусской, неприятной склонности исповедываться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.

— Понимаешь, — говорил он — каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.

Вскочил на ноги и полушутя заявил, встряхнув волосами:

— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.

И снова серьезно:

— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного, — а? Как ты думаешь?

Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно, и что ему не хватает знаний.

— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу . . .

Он махнул рукой.

— Не то. Надо найти себе Бога и поверить в мудрость Его.

Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:

— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.

Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна», расстроил его. Люди, всегда готовые услужить улице, начали писать об Андрееве различные гадости, доходя в сочинении клеветы до комизма: так один поэт напечатал в харьковской газете, что Андреев купался со своей невестой без костюмов. Леонид обиженно спрашивал:

— Что же он думает, — во фраке, что ли, надо купаться? И, ведь, врет, не купался я ни с невестой, ни соло, весь год не купался — негде было. Знаешь, я решил напечатать и расклеить по заборам покорнейшую просьбу к читателям, — краткую просьбу:

— «Будьте любезны, —
Не читайте «Бездны»!

Он был чрезмерно, почти болезненно внимателен к отзывам о его рассказах и всегда, с грустью или с раздражением, жаловался на варварскую грубость критиков и рецензентов, а однажды даже в печати жаловался на враждебное отношение критики к нему лично, как человеку.

— Не надо этого делать, — советовали ему.

— Нет, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мне отрежут или кипятком ошпарят . . .

Его жестоко мучил наследственный алкоголизм; болезнь проявлялась сравнительно редко, но почти всегда в формах очень тяжелых. Он боролся с нею, борьба стоила ему огромных усилий, но порой, впадая в отчаяние, он осмеивал эти усилия.

— Напишу рассказ о человеке, который с юности двадцать пять лет боялся выпить рюмку водки, потерял из-за этого множество прекрасных часов жизни, испортил себе карьеру и умер во цвете лет, неудачно срезав себе мозоль или занозив себе палец.

И действительно, приехав в Нижний ко мне, он привез с собою рукопись рассказа на эту тему.

В Нижнем у меня Л. Н. встретил отца Феодора Владимирского, протоиерея города Арзамаса, а впоследствии члена Второй Государственной Думы, — человека замечательного. Когда-нибудь я попробую написать его житие, а пока нахожу необходимым кратко очертить главный подвиг его жизни.

Город Арзамас чуть ли не со времени Ивана Грозного пил воду из прудов, где летом плавали трупы утопших крыс, кошек, кур, собак, а зимою, подо льдом, вода протухала, приобретая тошнотворный запах. И вот отец Феодор, поставив себе целью снабдить город здоровой водой, двенадцать лет самолично исследовал почвенные воды вокруг Арзамаса. Из года в год, каждое лето, он, на восходе солнца, бродил, точно колдун, по полям и лесам, наблюдая, где земля «преет». И после долгих трудов нашел подземные ключи, проследил их течение, перекопал, направил в лесную ложбину за три версты от города и, получив на десять тысяч жителей свыше сорока тысяч ведер превосходной ключевой воды, предложил городу устроить водопровод. У города был капитал, завещанный одним купцом условно или на водопровод, или на организацию кредитного общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадях из дальних ключей за городом, в водопроводе не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Феодора, стремилось употребить капитал на основание кредитного общества,

а мелкие жители хлебали тухлую воду прудов, оставаясь — по привычке, издревле усвоенной ими — безучастны и бездеятельны. Итак, найдя воду, отец Феодор принужден был вести длительную и скучную борьбу с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков.

Приехав в Арзамас под надзор полиции, я застал его в конце работы по собиранию источников. Этот человек, истощенный каторжным трудом и несчастиями, был первым арзамасцем, который решился познакомиться со мной, — мудрое арзамасское начальство, строжайше запретив земским и другим служащим людям посещать меня, учредило, на страх им, полицейский пост прямо под окнами моей квартиры.

Отец Феодор пришел ко мне вечером, под проливным дождем, весь — с головы до ног — мокрый, испачканный глиной, в тяжелых мужицких сапогах, сером подряснике и выцветшей шляпе, — она до того размокла, что сделалась похожей на кусок грязи. Крепко сжав руку мою мозолистой и жесткой ладонью землекопа, он сказал угрюмым баском:

— Это вы — нераскаянный грешник, коего сунули нам исправления вашего ради? Вот мы вас исправим! Чаем угостить можете?

В седой бородке спрятано сухонькое личико аскета, из глубоких глазниц кротко сияет улыбка умных глаз.

— Прямо из леса зашел. Нет ли чего — переодеться мне?

Я уже много слышал о нем, знал, что сын его — политический эмигрант, одна дочь сидит в тюрьме «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же; знал, что он затратил все свои средства на поиски воды, заложил дом, живет, как нищий, сам копает канавы в лесу, забивая их глиной, а когда сил у него не хватало, — Христа ради просил окрестных мужиков помочь ему. Они — помогали, а городской обыватель, скептически следя за работой «чудака» попа, пальцем о палец не ударил в помощь ему.

Вот с этим человеком Л. Андреев и встретился у меня.

Октябрь, сухой, холодный день, дул ветер, по улице летели какие-то бумажки, птичьи перья, облупки лука. Пыль скреблась в стекла окон, с поля на город двигалась огромная дождевая туча. В комнату к нам неожиданно вошел отец Феодор, протирая запыленные глаза, лохматый, сердитый, ругая вора,

украшего у него саквояж и зонт, губернатора, который не хочет понять, что водопровод полезнее кредитного общества, — Леонид широко открыл глаза и шепнул мне:

— Это что?

Через час, за самоваром, он, буквально разинув рот, слушал, как протоиерей нелепого города Арзамаса, пристукивая кулаком по столу, порицал гностиков за то, что они боролись с демократизмом церкви, стремясь сделать учение о богопознании недоступным разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшего познания искателями, аристократами духа, — а не народ ли, в лице мудрейших водителей своих, суть воплощение мудрости Божией и духа Его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ», гудел отец Феодор, а Леонид, толкая меня локтем, шептал:

— Вот олицетворенный ужас арзамасский!

Но вскоре он уже размахивал рукою пред лицом отца Феодора, доказывая ему бессилие мысли, а священник, встряхивая бородой, возражал:

— Не мысль бессильна, а неверие.

— Оно является сущностью мысли . . .

— Софизмы сочиняете, господин писатель . . .

По стеклам окон хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке — великий странник мира сего. Ниспровергнув все, что успели, мы разошлись по комнатам далеко за полночь, я уже лег в постель с книгой в руках, но в дверь постучали, и явился Леонид, встрепанный, возбужденный, с расстегнутым воротом рубахи, сел на постель ко мне и заговорил, восхищаясь:

— Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?

И вдруг на глазах у него сверкнули слезы.

— Счастлив ты, Алексей, чорт тебя возьми! Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди, а я — одинок . . . или же вокруг меня толкутся . . .

Он махнул рукою. Я стал рассказывать ему о жизни отца Феодора, о том, как он искал воду, о написанной им «Истории ветхого завета», рукопись которой у него отобрана по постановлению Синода, о книге «Любовь — закон жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. В этой книге отец Феодор до-

казывал цитатами из Пушкина, Гюго и других поэтов, что чувство любви человека к человеку является основой бытия и развития мира, что оно столь же могущественно, как закон всеобщего притяжения, и во всем подобно ему.

— Да, — задумчиво говорил Леонид — надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом . . .

Снова постучали в дверь — вошел отец Феодор, запахивая подрясник, босый, печальный.

— Не спите? А я, того . . . пришел! Слышу, говорят, пойду, мол — извинюсь! Покричал я на вас резковато, молодые люди, так вы не обижайтесь. Лег, подумал про вас — хорошие человеки, ну, решил, — что я напрасно горячился. Вот — пришел — простите! Иду спать . . .

Забрались оба на постель ко мне, и снова началась бесконечная беседа о жизни. Леонид — хохотал и умилялся:

— Нет, какова наша Россия? . . «Позвольте, — мы еще не решили вопроса о бытии Бога, а вы обедать зовете!» Это же — не Белинский говорит, это — вся Русь говорит Европе, ибо Европа, в сущности, зовет нас обедать, сытно есть, — не более того!

А отец Феодор, кутая подрясником тонкие, костяные ноги, улыбаясь, возражал:

— Однако, Европа все-ж-таки мать крестная нам, — не забудьте! Без Вольтеров ее и без ее ученых — мы бы с вами не состязались в знаниях философских, а безмолвно блины кушали бы и — только всего!

На рассвете отец Феодор простился и часа через два уже исчез хлопотать о водопроводе арзамасском, а Леонид, проспав до вечера, — вечером говорил мне:

— Ты подумай — кому, для чего нужно, чтоб в тухлом каком-то городе жил умница поп, энергичный и интересный? И почему именно поп — умница в этом городе, а? Какая ерунда! Знаешь — жить можно только в Москве, — уезжай отсюда. Скверно тут, — дождь, грязь . . . И тотчас же стал собираться домой . . .

На вокзале он сказал:

— А все-таки этот поп — недоразумение. Анекдот!

Он довольно часто жаловался, что почти не видит людей значительных, оригинальных.

— Ты, вот, умеешь находить их, а за меня всегда цепляется какой-то репейник, и таскаю я его на хвосте моем — зачем?

Я рассказал о людях, знакомство с которыми было бы полезно ему — людей высокой культуры или оригинальной мысли, говорил о В. В. Розанове и других. Мне казалось, что знакомство с Розановым было бы особенно полезно для Андреева. Он удивлялся!

— Не понимаю тебя!

И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не делать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней. Его основное отношение к политическим событиям он выразил наиболее искренно в рассказе: «Так было — так будет».

Я пытался доказать ему, что учиться можно у чорта и вора так же, как у святого отшельника, и что изучение не значит — подчинение.

— Это не совсем верно — возражал он, — вся наука представляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю.

Иногда казалось, что он избегает личных знакомств с крупными людьми потому, что боится влияния их; встретится раз, два с одним из таких людей, иногда горячо расхвалит человека, но вскоре теряет интерес к нему и уже не ищет новых встреч.

Так было с Саввой Морозовым, — после первой длительной беседы с ним Л. Андреев, восхищаясь тонким умом, широкими знаниями и энергией этого человека, называл его Ермак Тимофеевич, говорил, что Морозов будет играть огромную политическую роль:

— У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!

Но знакомства с ним не продолжил. И так же было с А. А. Блоком.

Я пишу, как подсказывает память, не заботясь о последовательности, о «хронологии».

В «Художественном театре», когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой — худенькой, хрупкой барышней с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной, но вскоре я убедился, что это человек умного сердца.

Она прекрасно поняла необходимость материнского, бережного отношения к Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значение его таланта и мучительные колебания его настроений. Она — из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты.

Как известно, русский человек «ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца». Л. Н. тоже весьма увлекался красным словом и порою сочинял изречения весьма сомнительного тона.

«Через год после брака жена точно хорошо разношенный башмак, — его не чувствуешь» — сказал он однажды при Александре Михайловне. Она умела не обращать внимания на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смеялась. Но, обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла — если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она было изящна, а иногда как-то забавно, по-детски, важна, — я прозвал ее «Дама Шура», это очень привилось ей.

Л. Н. ценил ее, а она жила в постоянной тревоге за него, в непрерывном напряжении всех сил своих, совершенно жертвуя личностью своей интересам мужа.

В Москве у Андреева часто собирались литераторы, было очень тесно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, несколько сдерживали «широту» русских натур. Часто бывал Ф. И. Шаляпин, восхищая всех своими рассказами.

Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше — осуждали, что гораздо проще делать. Серьезно думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то «уединенными пошехонцами», в лучшем мнении — чудаками, в худшем — чем-то вроде изменников «великим традициям русской общественности». Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для «Симфонии», когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? События развивались в направлении катастрофы, признаки ее близости

становились все более грозными, эс-эры бросали бомбы, и каждый взрыв сотрясал всю страну, вызывая напряженное ожидание коренного переворота социальной жизни. В квартире Андреева происходили заседания Ц. К. социал-демократов большевиков, и однажды весь Комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму.

Просидев в тюрьме с месяц, Л. Н. вышел оттуда точно из купели Силоамской — бодрый, веселый.

— Это хорошо, когда тебя сожмут, — хочешь всесторонне расшириться! — говорил он.

И смеялся надо мной.

— Ну, что, пессимист? А ведь Россия-то — оживает? А ты рифмовал: самодержавие — ржавея.

Он печатал рассказы «Марсельеза», «Набат», «Рассказ, который никогда не будет кончен», но уже в октябре 1905 г. прочитал мне в рукописи «Так было».

— Не преждевременно ли? — спросил я.

Он ответил:

— Хорошее всегда преждевременно . . .

Вскоре он уехал в Финляндию и хорошо сделал — бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее — безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим:

«У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций — тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак, — наша родина свернула к точке наиболее любезной ей и снова долго будет жить распивочно и на вынос».

Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтрэ. Леонид издевался над жизнью швейцарцев.

— Нам, людям широких плоскостей, не место в этих тараканьих щелях, — говорил он.

Мне показалось, что он несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил также плоско, поверхностно и то же

самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш. Один из них определил русское понятие свободы глубоко и метко такими словами:

«Мы в нашем городе живем, как в бане — без поправок, без стеснения». О России Л. Н. говорил скучно и нехотя, и однажды, сидя у камина, вспомнил несколько строк горестного стихотворения Якубовича «Родине»:

«За что любить тебя, какая ты нам мать?»

— Написал я пьесу, — прочитаем?

И вечером он прочитал «Савву».

Еще в России, слушая рассказы о юноше Уфимцеве и товарищах его, которые пытались взорвать икону Курской Богоматери, — Андреев решил обработать это событие в повесть и тогда же, сразу, очень интересно создал план повести, выпукло очертил характеры. Его особенно увлекал Уфимцев, поэт в области научной техники, юноша, обладавший несомненным талантом изобретателя. Сосланный в Семиреченскую область, кажется в Каркаралы, живя там под строгим надзором людей невежественных и суеверных, не имея необходимых инструментов и материалов, он изобрел оригинальный двигатель внутреннего сгорания, усовершенствовал циклостиль, работал над новой системой драги, придумал какой-то «вечный патрон» для охотничьих ружей. Чертежи его двигателя я показывал инженерам в Москве, и они говорили мне, что изобретение Уфимцева очень практично, остроумно и талантливо. Не знаю, какова судьба всех этих изобретений, — уехав за границу, я потерял Уфимцева из виду.

Но я знал, что это юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые, — очарованы своей верой и любовью, — идут разными путями к одной и той же цели — к возбуждению в народе своем разумной энергии, творящей добро и красоту.

Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев исказил этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку, и краски, достойные его. Мы поспорили и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых — наиболее редких и положительных — явлений действительности.

Как все люди определенно очерченного «я», острого ощущения своей «самости», Л. Н. не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно.

Кажется в 907 или 8-ом году Андреев приехал на Капри, похоронив «Даму Шуру» в Берлине, — она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «Дамы Шуры».

— Понимаешь, — говорил он, странно расширяя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то бархатную черную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.

— Я боюсь, — сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь, — повторил мальчик.

— Ну, иди спать . . .

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его, Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он. — Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло-красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растравлял свою боль.

— Меня преследует мысль о самоубийстве, мне кажется, что тень моя, ползая за мной, шепчет мне: уйди, умри!

Это очень возбуждало тревогу друзей его, но иногда он давал понять, что вызывает опасения за себя сознательно и нарочито, как бы желая слышать еще раз, что скажут ему в оправдание и защиту жизни.

Но веселая природа острова, ласковая красота моря и милое отношение каприйцев к русским довольно быстро рассеяли мрачное настроение Леонида. Месяца через два его точно вихрем охватило страстное желание работать.

Помню — лунной ночью, сидя на камнях у моря, он встряхнул головой и сказал:

— Баста! Завтра с утра начинаю писать.

— Лучше этого тебе ничего не сделать.

— Вот именно.

И весело, — как он давно уже не говорил, — он начал рассказывать о планах своих работ.

— Прежде всего, брат, я напишу рассказ на тему о деспотизме дружбы, — уж расплачусь же я с тобой, злодей!

И тотчас, — легко и быстро, сплел юмористический рассказ о двух друзьях, мечтателе и математике, — один из них всю жизнь рвется в небеса, а другой заботливо подсчитывает издержки воображаемых путешествий и этим решительно убивает мечты друга.

Но вслед за этим он сказал:

— Я хочу писать об Иуде, — еще в России я прочитал стихотворение о нем — не помню чье[1]), — очень умное. Что ты думаешь об Иуде?

[1]) А. Рославлева.

У меня в то время лежал чей-то перевод тетралогии Юлиуса Векселля «Иуда и Христос», перевод рассказа Тора Гедберга и поэма Голованова, — я предложил ему прочитать эти вещи.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня может запутать. Расскажи мне лучше — что они писали? Нет, не надо, не рассказывай.

Как всегда в моменты творческого возбуждения, он вскочил на ноги, — ему необходимо было двигаться.

— Идем!

Дорогой он рассказал содержание «Иуды», а через три дня принес рукопись. Этим рассказом он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества. На Капри он затеял пьесу «Черные маски», написал злую юмореску «Любовь к ближнему», рассказ «Тьма», создал план «Сашки Жегулева», сделал наброски пьесы «Океан» и написал несколько глав — две или три — повести «Мои записки»; — все это в течение полугода. Эти серьезные работы и начинания не мешали Л. Н. принимать живое участие в сочинении пьесы «Увы», пьесы в классически-народническом духе, в стихах и прозе, с пением, плясками и всевозможным угнетением несчастных русских землепашцев. Содержание пьесы достаточно ясно характеризует перечень действовавших в ней лиц:

«Угнетон — безжалостный помещик.

Свирепея — таковая же супруга его.

Филистерий — Угнетонов брат, литераторишко прозаический.

Декадентий — неудачное чадо Угнетоново.

Терпим — землепашец, весьма несчастен, но не всегда пьян.

Скорбела — любимая супруга Терпимова; преисполнена кротости и здравого смысла, хоша беременна постоянно.

Страдала — прекрасная дочь Терпимова.

Лупоморда — ужаснейший становой пристав. Купается в мундире и при орденах.

Раскатай — несомненный урядник, а на самом деле — благородный граф Эдмон де Птие.

Мотря Колокольчик — тайная супруга графова, а в действительности испанская маркиза донна Кармен Нестерпима и Несносна, притворившаяся гитаной.

Тень русского критика Скабичевского.

Тень Каблица-Юзова.

Афанасий Щапов, в совершенно трезвом виде.

«Мы говорили» — группа личностей без речей и действий.

Место происшествия — «Голубые Грязи», поместье Угнетоново, дважды заложенное в Дворянском банке и однажды еще где-то».

Был написан целый акт этой пьесы, густо насыщенный веселыми нелепостями. Прозаический диалог уморительно писал Андреев и сам хохотал, как дитя, над выдумками своими.

Никогда, ни ранее, ни после, я не видал его настроенным до такой высокой степени активно, таким необычно трудоспособным. Он как будто отрешился от своей неприязни к процессу писания и мог сидеть за столом день и ночь, полуодетый, растрепанный, веселый. Его фантазия разгорелась удивительно ярко и плодотворно, — почти каждый день он сообщал план новой повести или рассказа.

— Вот когда, наконец, я взял себя в руки! — говорил он, торжествуя.

И расспрашивал о знаменитом пирате Барбароссе, о Томазо Аниелло, о контрабандистах, карбонариях, о жизни калабрийских пастухов.

— Какая масса сюжетов, какое разнообразие жизни! — восхищался он. — Да, эти люди накопили кое-чего для потомства. А у нас: взял я как-то «Жизнь русских царей», читаю — едят! Стал читать «Историю русского народа» — страдают! Бросил, — обидно и скучно.

Но, рассказывая о затеях своих выпукло и красочно, писал он небрежно. В первой редакции рассказа «Иуда» у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже Евангелие. Когда ему говорили, что «герцог Спадаро» для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы «князь Башмачников», а сен-бернардских собак в XII веке еще не было, — он сердился:

— Это пустяки.

— Нельзя сказать: «они пьют вино, как верблюды», не прибавив — воду!

— Ерунда!

Он относился к своему таланту, как плохой ездок к прекрасному коню, — безжалостно скакал на нем, но не любил, не холил. Рука его не успевала рисовать сложные узоры буйной

фантазии, он не заботился о том, чтоб развить силу и ловкость руки. Иногда он и сам понимал, что это является великою помехой нормальному росту его таланта.

— Язык у меня костенеет, я чувствую, что мне все трудней находить нужные слова . . .

Он старался гипнотизировать читателя однотонностью фразы, но фраза его теряла убедительность красоты. Окутывая мысль ватой однообразно-темных слов, он добивался того, что слишком обнажал ее, и казалось, что он пишет популярные диалоги на темы философии.

Изредка, чувствуя это, он огорчался:

— Паутина, — липко, но не прочно! Да, нужно читать Флобера; ты, кажется, прав: он, действительно, потомок одного из тех гениальных каменщиков, которые строили неразрушимые храмы средневековья!

На Капри Леониду сообщили эпизод, которым он воспользовался для рассказа «Тьма». Героем эпизода этого был мой знакомый, эс-эр. В действительности эпизод был очень прост: девица «дома терпимости», чутьем угадав в своем «госте» затравленного сыщиками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке, — пощечина вполне заслуженная на мой взгляд. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, он извинился пред нею и поцеловал руку ее, — мне кажется, последнего он мог бы и не делать. Вот и все.

Иногда, к сожалению, очень редко, действительность бывает правдивее и краше даже очень талантливого рассказа о ней.

Так было и в этом случае, но Леонид неузнаваемо исказил и смысл, и форму события. В действительном публичном доме не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно уснастил свой рассказ.

На меня это искажение подействовало очень тяжко: Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и

жадно ожидал. Я слишком хорошо знаю людей для того, чтоб не ценить — очень высоко — малейшее проявление доброго, честного чувства. Конечно, я не мог не указать Андрееву на смысл его поступка, который для меня был равносилен убийству из каприза, — злого каприза. Он напоминал мне о свободе художника, но это не изменило моего отношения, — я и до сего дня еще не убежден в том, что столь редкие проявления идеально-человеческих чувств могут произвольно искажаться художником в угоду догмы, излюбленной им.

Мы долго беседовали на эту тему, и, хотя беседа носила вполне миролюбивый, дружеский характер, но все же с этого момента между мною и Андреевым что-то порвалось.

Конец этой беседы очень памятен мне.

— Чего ты хочешь? — спросил я Леонида.

— Не знаю, — ответил он, пожав плечами, и закрыл глаза.

— Но ведь есть же у тебя какое-то желание, — оно или всегда впереди других, или возникает более часто, чем все другие?

— Не знаю, — повторил он. — Кажется, — нет ничего подобного. Впрочем, иногда я чувствую, что для меня необходима слава, — много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов и, когда она получит силу взрывчатого вещества, — я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом. И после того люди начнут жить новым разумом. Видишь ли — необходим новый разум, не этот лживый мошенник! Он берет у меня всё лучшее плоти моей, все мои чувства и, обещая отдать с процентами, не отдает ничего, говоря: завтра! Эволюция, — говорит он. А когда терпение мое истощается, жажда жизни душит меня, — революция, — говорит он. И обманывает грязно. И я умираю, ничего не получив.

— Тебе нужна вера, а не разум.

— Может быть. Но если так, то прежде всего — вера в себя.

Он возбужденно бегал по комнате, потом, присев на стол, размахивая рукою пред лицом моим, продолжал.

— Я знаю, что Бог и Дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их кровью и плотью мира. А вложив все до конца силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет, они же станут плотскими реаль-

ностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чем нет.

Он побледнел, у него дрожали губы, в глазах сухо блестел ужас.

Потом он добавил вполголоса, бессильно:

— Представим себе Дьявола — женщиной, Бога — мужчиной, и они родят новое существо, — такое же, конечно, двойственное, как мы с тобой. Такое же . . .

Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед от'ездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности — здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир, — итальянцы неспособны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ.

— А Леопарди?

— Ну, Леопарди . . . кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорит мне:

— Это, Алексеюшко, тоже Арзамас, — веселенький Арзамас, не более того.

— А помнишь, как ты восхищался?

— До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха . . .

Живя в Италии, я настроился очень тревожно по отношению к России. Начиная с 11-го года вокруг меня уверенно говорили о неизбежности общеевропейской войны и о том, что эта война, наверное, будет роковой для русских. Тревожное настроение мое особенно усугублялось фактами, которые определенно указывали, что в духовном мире великого русского народа есть что-то болезненно-темное. Читая изданную Вольно-Экономическим Обществом книгу об аграрных беспорядках великорусских губерний, я видел, что эти беспорядки носили особенно

жестокий и бессмысленный характер. Изучая по отчетам московской судебной палаты характер преступлений населения московского судебного округа, я был поражен направлением преступной воли, выразившимся в обилии преступлений против личности, а также в насилии над женщинами и растлении малолетних. А раньше этого меня неприятно поразил тот факт, что во Второй Государственной Думе было очень значительное количество священников — людей наиболее чистой русской крови, но эти люди не дали ни одного таланта, ни одного крупного государственного деятеля. И было еще много такого, что утверждало мое тревожно-скептическое отношение к судьбе великорусского племени.

По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои вевеселые думы. Он горячо и даже, как будто, с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было.

Но вдруг он, понизив голос, прищурив глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней, убежденностью.

Я не могу, — да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила ее заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л. Н. способным.

Он весь дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая, кричал мне:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупных русских писателей — люди московской области? Хорошо, пусть будет так, но все-таки это — мировая литература, это самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно гения одного Достоевского, чтоб оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то: «лишь в больной раковине растет жемчужина».

— А красота зверя? — спросил я.

— А красота терпения человеческого, кротости и любви? — возразил он. И продолжал говорить о народе, о литературе, все более пламенно и страстно.

Впервые говорил он так страстно, так лирически, раньше я слышал столь сильные выражения его любви только к талантам, родственным ему по духу — к Эдгару Поэ чаще других.

Вскоре после нашей беседы разразилась эта гнусная война, — отношение к ней еще более раз'единило меня с Андреевым.

Лишь в 15-ом году, когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма, и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против распространения этой заразы, мы, однажды, поговорили. Усталый, настроенный дурно, он ходил по комнате, засунув одну руку за пояс брюк, другою размахивая в воздухе. Темные его глаза были угрюмы. Он спросил:

— Можешь ты сказать откровенно, — что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами?

Я ответил, что еврей, вообще, симпатичен мне, а симпатия — явление «биохимическое» и об'яснению не поддается.

— А все-таки?

— Еврей, — суть человек верующий, вера его — по преимуществу — качество, я люблю верующих, люблю фанатиков всюду — в науке, искусстве, политике. Хотя знаю: фанатизм нечто наркотическое, но наркотики — не действуют на меня. Прибавь к этому стыд русского за то, что в его доме — на родине его — непрерывно творится позорное и гнусное в отношении к еврею.

Леонид тяжело привалился на диван, говоря:

— Ты человек крайностей, и они тоже, — вот в чем дело! Кто-то сказал: — «Хороший еврей — Христос, плохой — Иуда». Но я не люблю Христа, — Достоевский прав: Христос был великий путаник . . .

— Достоевский не утверждал этого, это — Нитчше . . .

— Ну, Нитчше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. — Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа. Я тоже не люблю Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка . . .

— Разве христианство кажется тебе оптимистичным?

— Конечно, — царствие небесное и прочая чепуха. Я думаю, что Иуда был не еврей, — грек, эллин. Он, брат, умный и дерзкий человек, Иуда. Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа была своя философия, — глупо думать, что он предавал

только ради заработка. Знаешь, — если б Иуда был убежден, что в лице Христа пред ним сам Иегова, — он все-таки предал бы его. Убить Бога, унизить его позорной смертью, — это, брат, не пустячек!

Он долго говорил на Геростратову тему и, — как всегда, когда он сталкивался с такими мыслями, — говорил интересно, возбужденно, подхлестывая фантазию свою острейшими парадоксами. В такие минуты его грубовато красивое, но холодное лицо становится тоньше, одухотворенней, и темные глаза, в которых у него нескрываемо блестит страх пред чем-то, — в такие минуты горят дерзко, красиво и гордо.

Потом он вернулся к началу беседы.

— Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя — литература! Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчеркнуто остроумие евреев. Но — я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их жизни, — как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него — преступник, гонитель, погромщик?

— Тогда ты напрасно вступил в это общество, — зачем же насиловать себя?

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И — наконец русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером — чорт знает, чем еще! И — всего меньше — самим собою.

Усмехаясь он добавил:

— По этому пути шел мой хороший приятель Горький и — от него осталось почтенное, но — пустое место. Не сердись.

— Продолжай.

Он налил себе крепкого чая и — с явной целью задеть меня — стал грубо отрицать превосходный, суровый талант Ивана Бунина, — не любит он его. Но вдруг, скучным голосом сказал:

— А женился я на еврейке!

В 16-м году, когда привез мне книги свои, оба снова и глубоко почувствовали, как много было пережито нами, и какие мы

старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема, — я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии: я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям.

Л. Н. Андреев чувствовал иначе. Но не я поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины.

Оглавление.

Стр.

Н. Е. Каронин-Петропавловский 5

А. П. Чехов 24

Лев Толстой 42

М. М. Коцюбиньский 89

Леонид Андреев 96

HS

РЭ
Г-710